

**Военные
Приключения**

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Военные приключения

Валерий Поволяев

Чрезвычайные обстоятельства

«ВЕЧЕ»

2007

Поволяев В. Д.

Чрезвычайные обстоятельства / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ»,
2007 — (Военные приключения)

ISBN 978-5-4484-7893-2

Люди по-разному относятся к понятиям Долг и Честь. Группа майора Петракова уходит на задание, прекрасно понимая, что им предстоит спасти далеко не лучших представителей рода человеческого. А ради чего рискует жизнью подполковник Складенко? Новые произведения признанного мастера отечественной остросюжетной литературы. Знак информационной продукции 12+

ISBN 978-5-4484-7893-2

© Поволяев В. Д., 2007

© ВЕЧЕ, 2007

Содержание

Чрезвычайные обстоятельства	6
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Валерий Поволяев

Чрезвычайные обстоятельства (сборник)

© Поволяев В. Д., 2007

© ООО «Издательский дом «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Чрезвычайные обстоятельства

*Моим друзьям, прошедшим многие войны и «горячие» точки
– Валерию ДЕМИНУ, Алексею КЛИМОВУ, Сергею КНЯЗЕВУ,
Александрю ЛОГИНОВУ, Валерию ОЧИРОВУ, Виталию ПАВЛОВУ,
Юрию ПЕТРУНИНУ – посвящается.*

Петраков глянул в окно и потянулся к пачке сигарет, лежавшей на обеденном столе, чиркнул спичкой. В горле после тяжелого сна что-то першило, в висках скопилась боль – натекла туда, словно расплавленное олово, застыла, ничем ее не выдавить оттуда, колено, пробитое два года назад пулей, ныло. Нытье было тупым, способным вывернуть наизнанку даже очень терпеливого человека, каковым, вне всякого сомнения, был Леша Петраков.

Впрочем, какой он Леша? Он – Алексей Петрович, ему уже тридцать пять лет, и воинское звание у него соответственное – майор. Конечно, к этим годам другие становятся и полковниками, и генерал-майорами, но, как говорится, каждому свое: на фигу с маслом закон падающего бутерброда не распространяется. Кажется, так говаривал один остроумный человек.

На душе было беспокойно.

За окном висел туман. Противный августовский туман, в котором очень хорошо может гнить и железо, и дерево, и резина, даже бетон, и тот может гнить. На черных мокрых ветках дерева, растущего под окном, висели скрученные в рогульки жестяные листья, их было немного, с полсотни на все дерево, но именно они вызывали ощущение какой-то незащищенности, холода – будто босиком угодил на снег.

Асфальтовый двор под окном был пустынен, никого на нем, ни единой души – только большая, важная, очень похожая на районного начальника ворона.

Ворона ходила вокруг сухой хлебной горбушки неестественно белого цвета, лежавшей на асфальте, и так к ней примеривалась, и этак, пробуя разгрызть, но ничего у клювастой не получалось, слишком уж засохла горбушка, была твердой, как дерево. Ворона только каркала от расстройства, долбила дубовую твердь горбушки клювом, шелкала им, злилась, но отщипнуть от хлеба ничего не могла.

Через несколько минут она сообразила, как надо поступить. Метрах в пяти от вороны в асфальте виднелась выбоина – оставили когда-то нерадивые электрики, искавшие разрыв в кабеле, пролом в асфальте они залили какой-то вонючей черной гадостью, гадость эта благополучно засохла, но тут же пошла трещинами, просела и на месте этом образовалась неряшливая выбоина. Выбоина всегда была заполнена водой, человек, нечаянно угодивший в нее, мог запросто набрать себе полные ботинки противной холодной жидкости.

Ворона проворно подскочила к выбоине, глянула в нее, словно хотела проверить глубину и неожиданно отрицательно мотнула головой. Петраков, наблюдавший за ней с третьего этажа, не выдержал, рассмеялся:

– Соображает, зар-паз!

А ворона тем временем сделала несколько скачков вбок, к широкой плоской луже, также разлившейся на асфальте, и это море разливанное больше подошло вороне – во всяком случае, не утонешь хоть.

Она каркнула довольно и, бегом ринувшись к горбушке, подцепила ее клювом, проволокла несколько метров по асфальту и сунула в лужу.

Минуты две бегала вокруг лужи, каркала, нетерпеливо поглядывая на горбушку – вбирает та в себя воду или нет, потом ловко подцепила горбушку клювом и перевернула на другой бок. Петраков невольно восхитился:

– Вот, зар-паз!

Конечно, ворона – умная птица, много умнее серого городского воробья и певучего дрозда, но чтобы она была такой изворотливой, такой предприимчивой, Петраков не ожидал. У вороны было гораздо больше сообразительности, чем у иной торговки с Савеловского вокзала, лстивым голосом впаривающей покупателям залежалый товар.

Выдернув пропитавшуюся влагой горбушку из лужи – лужа почти высохла, горбушка всю воду всосала в себя, – ворона выволокла ее на асфальт и начала неторопливо расклеивать.

Сообразительность всегда отличала существа высшего порядка, возвышала над остальными, эта ворона по мозгам своим была сродни человеку, вполне возможно, что в своей прошлой жизни она и была человеком.

Во рту возникла горечь, словно Петраков раздавил языком дикую ягоду и вместе с нею – горькое переспелое ядрышко, обтянутое тонкой морщинистой кожей. Он подбил к себе пальцем сигаретную пачку, не глядя вытащил одну сигарету, потом, также не глядя прикурил от плоской штампованной зажигалки.

Ворона разделалась с горбушкой быстро, через пять минут от размякшей сухой краюхи остались лишь мелкие лохмотья. Ворона с сожалением пощелкала клювом, будто ножницами разрежала воздух, железное кланье клюва было слышно даже в квартире Петракова. Петраков усмехнулся – лихо!

Тревога, сидевшая у него внутри, не проходила.

Откуда она взялась, из какой щели выползла? Петраков перебрал в памяти вчерашний день – было ли там что-нибудь тревожное? День как день – серый, прохладный, в беготне, в мути общения, в тряске – расхлябанный скрипучий городской транспорт давно пора менять, он изнашивался, – все в этом дне было обычное, ничего тревожного... Тогда откуда же взялась эта иссасывающая, холодная тревога?

И Петраков вспомнил – он видел во сне Леню Костина. Леня возник из ничего, на ровном, что называется, месте, из тягучего невесомого сумрака – вначале высветилось его лицо, улыбающееся, круглое, веснушчатое лицо, озаренное солнечной и одновременно очень грустной улыбкой. Леня стоял на пыльных, словно бы поросших мышастым покровом, камнях и, держа в руке автомат, что-то говорил Петракову. Что конкретно говорил – не разобрать, губы шевелились немо, Петраков напряженно вслушивался в его речь, вытягивал голову, приставлял ладонь к уху, но так ничего и не расслышал.

Капитан Леонид Костин погиб пятнадцать лет назад в Афганистане. Они тогда уходили группой от душманов. Душманы оказались опытными, очень цепкими, не отставали от спецназовцев Петракова ни на шаг – они словно бы зубами вцепились в штаны, оторваться от них было невозможно.

Афганские горы – старые, мшистые, будто бы поросшие плесенью, шоколадно-рыжие, какие-то разлагающиеся, – бесконечны: идешь по ним и конца-края не видишь, одно ущелье сменяется другим, как две капли воды похожим на первое, третье ущелье похоже на второе, четвертое на третье и так до бесконечности. Казалось бы, в этих пыльных просторах можно спрятаться, затаиться, но не тут-то было: те норы, куда спецназовцы хотели нырнуть и затаиться, переждать время, душманы знали тоже.

Группа Петракова выполнила задание, которое стояло перед ней – ликвидировала полевого командира Акифа и взяла в плен инструктора, пакистанца по национальности.

Когда банда лишается двух таких голов, то становится безопасной, так называемые душманы – они же «душки», «прохоры», «халаты», моджахеды, «полосатые», их величали по-разному, – просто-напросто разбегаются по своим кишлакам, поэтому во всяком бандформировании важно свернуть голову двум персонам, если можно так выразиться – полемому командиру и инструктору. По-русски, – советнику, мушаверу.

Мушавер-пакистанец не захотел идти в плен. Когда группа цепочкой одолевала каменный гребень, с одной стороны которого, справа, располагалась пропасть километровой глу-

бины, слева, чуть отступя, также курилась рыжим дымком такая же страшная пропасть, пакистанец сделал резкий шаг вправо.

Петраков сожалеющим взглядом проводил мушавера в последний полет, подождал, когда до него донесется тяжелый глухой звук приземляющегося тела и махнул рукой, призывая группу убыстрить шаг:

– За мной!

Инструктор-пакистанец – это не главное, таких инструкторов Петраков взял в Афганистане в плен столько, что и памяти не хватит, чтобы всех вспомнить, – и пакистанцы были, и белуджи, и иранцы, и американцы, и французы, и сенегальцы, – всякий, в общем, народ, главная закавыка была в документах, которые группа несла с собой. В этой банде он взял секретные бумаги – инструкции по пользованию новейшими переносными ракетами, от которых нет спасения ни самолетам, ни вертолетам. Эти ракеты будут поубойнее американских «стингеров» и английских «блоупайпов».

За этими бумагами душманы и гнались, если бы не это, они давно бы отстали от группы Петракова. Уложили душманов немало: у Петракова осталось в группе всего два человека – он сам и капитан Костин.

Командира в таких рейдах положено беречь как зеницу ока, особо – он один единственный знает полный объем задания, маршрут, явки, схоронки, людей, которые должны их встретить, у него, одним словом, все в руках, полный пакет информации, остальные в группе – обычные боевики.

Они шли в место «Зет», куда за ними должны были явиться вертолеты, шли без остановок, задыхаясь от усталости, от изнуряющей горной жары, от нехватки кислорода – в пыльном желтом воздухе было полно мух, но кислорода не было, иногда переключались на бег и тогда душманы, боявшиеся упустить их, также переходили на бег.

Когда уже делалось нелегко, становились слышны хрипы, вырывающиеся из душманских глоток, шлепанье ног, обутой в мягкие, распаренные от движения и жары, вонючие галоши, Петраков повелительно махал Костину рукой – проходи, мол, вперед, не задерживайся, сам ложился в укрытие, подпускал душманов поближе и короткими злыми очередями заваливал сразу двух, а то и трех человек, душманы падали в камни, заползали в щели и не высывались оттуда несколько минут.

Передышка эта – маленькая, с воробыный скок величиной, но и воробыного скока хватало, чтобы оторваться от душманов на полкилометра.

Когда до точки «Зет» оставалось километров пять, Петраков сплеховал – здоровенный душман, настоящий «прохор», с редкобородым узким лицом и крупным, приплюснутым в ноздрах носом, плечистый, в длинной, до щиколоток, выцветшей серой рубашке, вскинул свой «калашников» на мгновение раньше Петракова и двумя пулями перебил ему правую руку.

Стрелял душман лихо, с одной руки, на весу – здоровенный гад был. Как трактор.

Петраков перекинул автомат в другую руку и также, на весу, ответил. Стрелял он лучше, чем его противник – душман открыл рот, выронил автомат и плашмя лег на камни.

– Один – ноль, – морщась от боли, прошептал Петраков, и добавил, выдернув из-за пояса индпакет – резиновый кулек с тампоном, – игра в этом тайме началась с подсечки. Сплеховал ты, братец...

Он оторвал рукав гимнастерки, сунул его в карман. В рейдах не положено было оставлять что-либо на чужой территории, даже пепел от сигарет, даже окурки, консервные банки, бумажный мусор – все это они собирали и уносили с собой, поскольку в наших штабах считалось – по этой немудреной мелочи душманы со своими заморскими советниками могли многое определить... Впрочем, банки иногда зарывали в землю, стараясь упрятать их поглубже, чтобы ни одна собака не сумела отыскать. Жестянки эти носить ведь трудно, они громоздкие,

а главное – очень уж сильно громыхают на ходу. Петраков притиснул к ране тампон, обжал его пальцами, чтобы резиновые края поплотнее прилипли к коже и не пропускали кровь.

Попробовал пошевелить пальцами раненой руки – пальцы шевелились, но вяло – не было в них прежней силы и цепкости – видать, пуля перебила что-то важное – нерв, сочленение, какую-нибудь жилку, артерию, нитку. Петраков протестующе помотал головой – не хотелось в это верить. Выглянул из-за камня. Убитый душман лежал в прежней позе, из открытого рта вытекала струйка крови и на ней уже сидели мухи, мелкие рыжеватые твари, которые живут в горах на большой высоте: выведена эта популяция, видать, из орлиного помета, потому и не боится заоблачных высей.

Кроме убитого душка, никого не было видно – преследователи уже знали, как могут стрелять эти двое, потому и избирали одну и ту же тактику – отпускали спецназовцев вперед, на безопасное расстояние и только потом поднимались.

Петраков сглотнул слюну – твердый неудобный комок, возникший в глотке, – и, развернувшись, перебежал к следующему камню: надо было догонять Леню. Метров через тридцать догнал. Костин, увидев руку капитана, болезненно сморщился:

– Нарушаешь инструкцию, командир!

Он был прав – Петраков не имел права уходить в прикрытие. Это – дело других. Даже если этих других осталась всего-навсего одна боевая единица – Леня Костин.

– Вперед! – вместе со скрипучим кашлем выбил из себя Петраков, оглянулся – не зашевелились ли там душки, но ничего, кроме пыльных, каких-то неряшливо изломанных камней, громоздящихся друг на друге, не увидел.

Боль в раненой руке усилилась. Когда сделалось совсем невмоготу, Петраков скомандовал Лене:

– Стой!

Тот, словно бы налетев на невидимый забор, резко остановился. Замер. Медленно повернул голову.

– Прикрой меня, – попросил его Петраков, Костин поспешно перекатился за спину капитана и, выставив перед собой ствол автомата, слился с камнем.

Петраков выдернул из нагрудного кармана шприц, заранее заряженный обезболивающим раствором и запааянный в плотный пластик. Прямо через ткань вогнал себе в бицепс иголку. Выдернул шприц, вновь сунул его в карман и прохрипел привычно:

– Вперед!

Рука начала стремительно каменеть, потяжелела, сделалась чужой. Ладно, хоть теперь не будет болеть.

Воздух сгустился, от него стало странно пахнуть гнилью, солнце растворилось в небе, сделалось нестерпимо жарким, разлилось по всему своду. Петраков поглубже натянул на нос панаму, сдул натекавшие на глаза капли пота:

– Вперед!

Минут через десять душманы обозначились вновь: сзади раздалась длинная автоматная очередь – видать, душок засек вдали промельк двух фигур и попробовал достать «шурави» из автомата, но пули на излете выдыхались, они басовито, будто шмели, гудели где-то рядом и вреда спецназовцам не причиняли.

Когда втягиваешься в бег, когда камни мелькают перед глазами, сливаясь в одну длинную пыльную, нескончаемую ленту, тянутся, тянутся – ни остановить их, ни сменить на что-то другое, когда в теле, кажется, не осталось уже ни капли жидкости, даже крови, и той не осталось, невольно сам делаешься таким же камнем – грязным, неряшливого мышинового с рыжиной цвета, бездушным. И ничего внутри уже нет – ни души, ни сердца, ни сожаления, ни сочувствия, ни боли... Если боль появляется, то один легкий укол ликвидирует ее.

Правда, только на время – боль потом все равно возникает, и то, чему положено у человека отболеть, чтобы человек возродился, стал самим собою – обязательно отболит. Отболевает то, что человеку уготовано судьбой и природой. Так что заглушенная боль еще аукнется.

Сзади снова раздалась очередь такая же далекая, как и предыдущая, Петраков даже оглядываться на нее не стал, хотя можно было бы для острастки огрызнуться тремя-четырьмя выстрелами в ответ. Можно было бы, но... Патронов жалко, их у него с Леней Костиным осталось уже совсем немного.

Проворно скатились в седловину, пробежали по ней, четко впечатывая каблук ботинок в пружинистую, будто дорогой ковер, пыль. Петраков попробовал было на бегу зацепиться пальцами раненой руки за каменный выступ, притормозиться – слишком уж он набрал на спуске скоростенку, так и кости растряссти можно, но пальцы, вцепившиеся было в камень, вяло соскользнули с него...

Самое опасное сейчас – подъем на противоположную сторону седловины, там они будут находиться у душманов словно на ладони. Если бы у Петракова были люди, он сработал бы по-другому – выставил засаду, которая задержала бы душков, сам спокойно пересек седловину, а потом с другой стороны, с закраины, прикрыл бы ребят, находившихся в засаде. Но сейчас на это не было ни людей, ни времени, ни сил, ни патронов.

С другой стороны, если поднапрячься, то можно взбежать на противоположный склон седловины раньше, чем тут появятся душманы... Под ноги капитану попал камень – сам вылез из бархатистой противной пыли, будто гнилой зуб, Петраков споткнулся о него и чуть не закувыркался, сделал длинный, вкось прыжок, оттолкнулся одной кроссовкой от валуна и устоял на ногах.

– Вперед! – привычно прохрипел он. – Быстрее!

Они успели достигнуть верхней точки седловины, оскользаясь в пыльной, стреляющей электрическим искорьем мякоти, взбежали на нее и едва успели нырнуть за камни, как с противоположной стороны раздалась автоматная очередь. Пули, впиваясь в пыльный бок седловины, рождали гулкий звук, бухали, будто в бочку. Костин высунул из-за камня автомат и дал ответную очередь.

На противоположной стороне седловины раздался крик, из-за камней вывалился бородастый мулла в халате и зеленой чалме, кулем покатился вниз, распластался на склоне, в пыли.

– Вперед! – привычно подогнал Костина Петраков, выкашлял изо рта черную твердую слюну, – осталось совсем немного.

Покрутив головой и выбив из глаз муть, электрические брызги, пыль, дымную порошу – что там еще может рождаться в глазах, когда человеку плохо? – Петраков согнулся и побежал вперед по ребровине хребта, будто по срезу городской крыши где-нибудь на Преображенке или в Замоскворечье. Справа в рыжую воздушную бездону уползал мшистый бок горы, по крутому склону медленно катились струйки земли, рождающие в груди невольное беспокойство, слева в такую же бездону уползал противоположный бок горы. Что там, на дне ущелий, по правую и левую стороны хребта, – не видно.

До площадки, на которую за ними должны были прибыть «вертушки», оставалось идти совсем немного. Мест, где могут приземлиться вертолеты, здесь раз-два и обчелся, пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать и, надо полагать, все они у душманов на примете, все пристреляны, на всех сидят свои «глаза и уши» – бородатые неразговорчивые наблюдатели. Вполне возможно, группе еще придется воевать, и что ждет ее впереди – никто не знает. Петраков пробовал прикинуть на ходу, как будет действовать, но все эти прикидки – от лукавого, ясно одно – действовать он будет по обстоятельствам.

– Вперед! – прохрипел Петраков заведено, помотал на бегу головой, будто лошадь.

Впереди, на остром срезе камней вдруг столбиком вскинулась змея, качнулась в одну сторону, потом в другую – она словно бы не хотела пропускать людей дальше.

– Вот сучка! – нехорошо изумился Петраков. – Вот душманка!

Змея снова сделала качок в одну сторону, потом в другую. На груди у нее раздулся поло-сатый капюшон-слонявчик. Кобра. Вообще-то кобры – благородные змеи, не то, что подлень-кие, помоечной плебейской закваски гюрзы; гюрза нападает исподтишка, внезапно, характер у нее – предательский, душманский – сегодня нашим, завтра вашим, а вот кобра – это совсем другой организм. Кобра никогда не нападает без предупреждения.

Кобра вновь метнулась в одну сторону, потом в другую, зашипела грозно.

– Уйди! – прохрипел ей Петраков просяще. – Не мешай нам!

Реакции никакой, словно кобра не понимала, о чем ее просит человек, а ведь она пони-мала, все хорошо понимала, – опять сделала резкий качок в сторону и в следующий миг напру-жинилась, готовясь к броску.

– Душманка! – Петракову не хотелось стрелять в эту красивую изящную змею, обла-давшую отменной реакцией, – иногда кобра оказывалась быстрее пули, опережала выстрел. – Уйди!

Змея уйти не захотела, да и не успела – Леня Костин дал из-за спины Петракова короткую очередь, змея, складываясь, резко нырнула вниз и заскользила по пыльному крутому склону. На дно ущелья она не успеет шлепнуться – по дороге перехватит какой-нибудь хищный горный зверек, либо орел. Голодных душ в горах всегда бывает с избытком.

В ответ на Ленину очередь сзади также раздалась очередь – пули преследователей басо-вито вспороли воздух в стороне от спецназовцев.

До площадки оставалось совсем немного – менее трех километров.

– Вперед, Леня! – привычно скомандовал Петраков, захлебнулся горячим варевом – воз-дух попал ему в грудь, сделалось больно, Петраков, согнувшись на бегу, выбил из себя твердый комок, попробовал пошевелить перебитой рукой – рука не подчинилась ему. Хорошо хоть, что не обожгла болью.

Он перепрыгнул через длинную каменную плиту, на которой нежилась несколько круп-ных коричневых ящериц, взбил столб пыли и понесся дальше.

Хотелось пить. Во рту все горело. Пыль покрыла лицо, руки, одежду, она прилипла к зубам, к небу, на языке вообще лежала толстым слоем, будто была намазана, как вазелин. Слюна была коричневой, неприятно тягучей. Сзади снова раздалась автоматная очередь, сле-дом – громкий гогот: душманы, осмелев, быстрой гибкой цепью понеслись за спецназовцами по излому хребта – только рыжая пыль взвилась в воздух столбом, накрыла азартный и злоб-ный косяк преследователей.

– Халаты... – Костин выбил изо рта коричневый взболток, – халаты нас вновь настигают, командир!

– Посмотри, сколько времени... У меня рука не поднимается, часов не видно.

Время «че» еще не наступило, к вертолетчикам они успевали. Костин повалился за камень, выдернул из лифчика запасной рожок, положил его рядом с собою.

– Ты уходи, командир, – прокричал он Петракову, – уходи! Через десять минут я тебя догоню.

Легко сказать – уходи! А если Костина подстрелят – причем, подстрелят так, что он поте-ряет сознание и, беспомощного, беспамятного возьмут в плен? Сам Петраков, например, не боялся умереть, боялся раненым потерять сознание. Хотя самих ран, физической боли, про-битых пулями мышц тоже не боялся: сегодняшнее ранение у него пятнадцатое по счету. И орденов он имеет соответственно своим заслугам: два – Красного Знамени, один – Красной Звезды, еще есть ордена...

Он побежал вперед. Каждый шаг, каждый удар ноги о камень отзывался ударом в вис-ках, там словно бы железом молотили о железо, удары оглушали его, в шее, в жилах, в ключи-цах сидела боль, колотилась внутри, словно бы собиралась выплеснуться, но выплеснуться не

могла, сидела прочно. Слава Богу, раненая рука не болела – болталась тяжелым оковалухом, таким мертвым бревном, но не болела...

Через пару минут сзади раздались выстрелы. Желтый густой воздух задрожал, он был похож на желе, которое можно резать ножом, что-то в нем начало перемещаться, пересыпаться, двигаться, в пробоины, оставленные пулями, также что-то потекло. Послышался тихий свистящий звук, он впивался в уши, мешал двигаться.

Петраков продолжал бежать.

Напарник его действовал по прежней схеме (как, впрочем, и душманы, которые тоже действовали по своей неизменной схеме) – завалил двух душков. Те, азартные, бородатые, злые, увлеклись и потеряли осторожность – тут Костин их и подсек. Один из преследователей распластался на срезе хребта, как на крыше высотного здания, второй молчаливым кулем покатился вниз, в курящуюся коричневую глубину ущелья.

Впрочем, Петраков ничего этого не видел. Он продолжал бежать, не сбавляя темпа и держа в опущенной руке автомат, на бегу думал о доме. Ох, как хотелось бы ему оказаться сейчас в Москве, дома, в тихом своем районе, где есть скверики, похожие на парки и большой пруд, в котором водятся настоящие золотистые караси с крупной, будто у карпа, чешуей, а над водой неподвижно парят яркие кобальтовые стрекозы.

Хорошо бывает утром, поднявшись вместе с солнцем, глядя, как теплый багряный свет окрашивает землю в радостные тона, делает ее обжитой, близкой, а в листве начинают отряхиваться, шебуршаться птицы, затянуться сигаретой – и не каким-нибудь утонченным заморским «кемэлом» или «мальборо», а родненькими российскими гвоздиками, набитыми краснодарским табачком, способным и слезу выбить, и удовольствие принести, – затянуться и ощутить себя счастливым человеком. После двух затяжек можно услышать, как в теле хрустят просыпающиеся мышцы, как сладко ноют все косточки и сухожилия, в ушах от этого стоит тихий здоровый звон, – а все естество наполняется необъяснимым блаженством...

Петраков продолжал бежать – равномерно, не делая рывков, втягивая в себя сквозь ноздри горячий пыльный воздух, – зубы у него были сжаты, лицо залито потом, в волосах пот засахарился и проступил морозной белью, руки безвольно висели. Работали только ноги, туловище, плечи отдыхали. Да в голове что-то тренькало по-синичьи тревожно, звонко, не давало ему отойти от мыслей о доме.

Как там Ирина, жена, как Наталья – карзубое симпатичное существо, при виде которой у него всегда перехватывало дыхание – а вдруг ее залапают, обидают, оскорбят выдавшие виды современные кривозадые юнцы с костлявыми подбородками, украшенными некрасивой редкой порослью, вызывающей у окружающих гаденькое хихиканье, – сами юнцы также гаденько хихикают, смолот цыгарки, тыкают пальцами в девчонок, стараясь их обидеть. За дочку Петраков боялся. Впрочем, он знал: если кто-то Наташку обидит, он этого человека достанет из под земли.

Стрельба за спиной оборвалась, Петракову захотелось остановиться, оглянуться – как там Леня Костин? Что-то жесткое сжало ему сердце – не подстрелили ль Леню? Но Петраков обрезал в себе желание останавливаться – не имел на это права, – как бежал, так и продолжал бежать.

С Костиным ничего не случилось, он догнал командира через двенадцать минут, взмокший, надсаженно хрипящий, с обострившимся лицом.

– Ну и бег у тебя, командир, – пробормотал он. Впрочем, в этом бормотании ничего осуждающего не было, наоборот – звучали довольные одобрительные нотки, – будто у паровоза. Еле догнал.

– До площадки осталось два километра, – выбил из себя Петраков вместе с жарким дыханием, споткнулся на округлом, со скошенными углами камне, взмахнул рукой, в которой был

зажат автомат. – Я так понял – душки место, куда придут вертолеты, знают. Придется нам еще пару раз отогнать их. Иначе они вертолетчикам не дадут сесть.

– Отгоним, куда они денутся... Душки на то и существуют, чтобы их отгонять.

На площадку они прибыли точно по часам. Площадочка была маленькая, кривоватая, для одного только вертолета, второму места на земле не было – только в воздухе.

Вертолеты на задания ходят парами, страхуя друг друга, одинокий вертолет обязательно вызывает ощущение некой слезной обиды, оторопи – значит, второй сбили, из дружной пары птиц осталась одна...

Спецназовцы были точны и вертолетчики тоже были точны – едва Петраков с Костиным залегли в разных углах косого пятачка, как в недалеком ущелье послышался гром, словно по склонам его потекли камни, потом гром исчез, накрытый древней пыльной грядой, гряда отгородила его от людей, но похоронить не сумела, гром вновь вытаял откуда-то из-под земли, растекся по воздуху и снова угас...

Это шли вертолеты.

Через несколько минут в недалеком ущелье появились две подрагивающие в горячем вареве мухи, устремились к площадке. Душманы тоже увидели вертолеты, дали несколько дружных очередей, обессилено смолкли – бить по вертолету из автомата – все равно что стрелять из рогатки по доскам забора, камень только отскочит, и все. Петраков настороженно приподнялся на локте здоровой руки – что-то смутило его, будто бы накатился теплый морской вал, обманчиво-ласковый, шуршащий по-домашнему, как где-нибудь в Пицунде. Он помнил, что стоило только ступить в этот пузырчатый накат одной ногой, как тот втягивал человека в себя целиком, сминал, волок в холодную глубину, всегда оказывавшейся твердой, как железо и льдисто холодной, тело в воде быстро деревенело, делалось чужим, крик, невольно родившийся в глотке, там же и застревал, становясь то ли камнем, то ли деревом, то ли куском еды, который человек так и не смог проглотить... Тревога, возникшая в Петракове, не исчезла, она в несколько мгновений подмяла его, будто тот самый вал – ему даже дышать сделалось нечем.

А мухи увеличивались на глазах, они то приподнимались над курящейся каменной глущью, то опускались, рождали внутри не только тревогу, но и радость, выплевывали из себя дым, грохот, железный звон – вертолеты шли к ним.

– Родненькие! – не удержался от восклицания Костин, засек душмана, неосторожно высунувшегося из-за камня с раскрытым ртом, быстро передернул автоматный затвор, поймал полоротого на мушку и надавил пальцем на спусковой крючок.

Душман удивленно приподнялся и так, с открытым ртом, рухнул на спину. Из-за камня поднялся столбик желтой пыли, провисел несколько мгновений в воздухе и исчез.

– Люблю вояк-романтиков, – сказал Костин, – которые на мир с открытыми ртами смотрят.

Голос его забил тяжелый, будто молотком колотили по днищу бочки, стук. Из скальной расщелины выметнулась длинная оранжевая струя, словно бы из теснины горы, из темени ее ударил цветной пеной пожарный брандспойт; струя прошла воздух под днищем головного вертолета и ушла за хребет.

ДШК – тяжелый двухствольный пулемет, гроза самолетов и вертолетов, цель снимает на расстоянии в три тысячи метров... Петраков не выдержал, застонал невольно, во рту у него появилась медная горечь – от досады, что он ничем не сумеет подсобить вертолетчикам. Вертолет против ДШК бессилен, когда тот запрятан в камни, если только ударить «нурсом» – неуправляемым реактивным снарядом, но для этого надо бить по ДШК очень прицельно, как из пушки-сорокапятки по фашистскому танку, не торопясь, задержав в себе дыхание; у вертолетчиков же такой возможности нет – пулемет распилит машину пополам, будто газосваркой, прежде чем вертолет нащупает его.

Первый вертолет прошел опасную зону, не задерживаясь, второй чуть подвернул, лег набок и с яростным шипением отплюнулся «нурсом». Ракета с железным звоном всадила в камни. Над расщелиной вздыбилось мелкое рыжее облако, заслонило собою половину неба. Следом вертолет послал еще один «нурс». Облако, заслонившее небо, сделалось больше и гуще.

– Так, так, так, – заведенно пробормотал Петраков, грохнул кулаком о камень. Сзади раздалась автоматная очередь, за ней – вторая, потом – третья. Душманы ожили, вновь двинулись на «шурави». – Леня! – предупреждающе выкрикнул Петраков. – Не зевай!

Выплюнул изо рта взболток противного коричневого вазелина. Очень уж быстро пыль во рту сбивается в эту гадость.

Костин в ответ приподнял руку: не зеваю, мол, и через полминуты завалил еще одного «гуся» – мрачного широкоплечего мужика с яркой рыжей бородой, плотно перетянутого крест-накрест патронной лентой, подобно революционному матросу семнадцатого года и так же, как и матрос, ожесточенно набычившегося, глазастого, зубастого, упрямого.

Старый автомат ППШ, с круглым диском, времен Великой Отечественной, проданный в банду каким-то гадом-прапорщиком из наших же частей, вылетел у душмана из руки, несколько пуль размолотили у автомата приклад и старый ППШ унесся в пропасть.

– Какой счет? – выкрикнул Петраков – в этом грохоте, в лязганье, стуке ему захотелось услышать собственный голос – просто понадобилось это сделать.

– Не помню, – с дробным смешком отозвался Костин. – Вначале я считал, сколько их подставилось, а потом счет потерял.

Вдруг откуда-то снизу, из-под каменного отвеса вновь полыхнула длинная оранжевая струя. Следом раздался тяжелый дробный стук. Камни под Петраковым затряслись. Струя развалила пыльный столб пополам, поползла влево, стремясь догнать первый вертолет, но догнать не смогла – стрелку помешал каменный отвес, несколько пуль выбили яркие электрические брызги, с макушки отвеса покатались камни, десятка полтора булыжин, похожих на пушечные ядра, с вязким воем, как настоящие ядра, унеслись вниз.

Пулеметчик резко переместил спаренный ствол ДШК, длинная струя метнулась, будто луч прожектора, вправо, снова разрежала гигантский пыльный взболток, метнулась вверх, потом соскользнула вниз, словно бы у пулеметчика выскользнули из пальцев обе рукоятки пулемета – он искал второй вертолет, но найти не успел, вертолет обозначился сам, ударил по пулемету «нурсом», за первой ракетой послал вторую.

Интервал между пусками был небольшой. Первый «нурс» врезался в камни, встряхнул гору. Вверх, блестя светлыми сколами, понеслись куски камней, один из них шлепнулся в пыль рядом с Петраковым, второй снаряд устремился точно к цели. Его все-таки опередила дымная струя, коснулась вертолетного бока, легко проткнула его, будто игрушку, сделанную из пластика, затем шибанула по лопастям, опять соскочила вниз, вторично протыкая тело вертолета.

Петраков не выдержал, зажмурил глаза – ну словно бы пули просадили его самого, ему сделалось больно, он закусил зубами нижнюю губу – сейчас ведь пулеметчик завалит вертолет, а это больно, так больно... Несколько пуль взорвали кабину – высветилось красным цветом лицо командира, вцепившегося обеими руками в рубчатую головку шаг-газа, лицо его было словно бы обваренным огнем, Петраков на мгновение засек это лицо и в следующий миг лица командира не стало.

Не стало и меткого пулеметчика-бородача в стеганом халате и старых кроссовках, снятых с убитого советского разведчика, «нурс» всавился точно в него, пригвоздил к каменной полке, на которой лежало несколько гранат, и взорвался. Душман даже закричать не успел – как не успел и ничего понять. Смерть он так и не увидел в глаза.

А вот русский летчик увидел, и испугаться успел, и взять себя в руки успел – он перенес то, что не дай Бог кому-либо перенести. Петраков выругался. У душмана смерть была легкой, у русского пилота – тяжелой.

Впрочем, легких смертей не бывает.

Вертолет задымил, развернулся вокруг собственной оси – очередь душмана отрубила ему направляющий хвостовой винт, задел обрубком длинного, будто у рыбы хвоста за выступ, процертил на нем глубокую борозду, снова развернулся вокруг оси. В пилотской кабине вспыхнуло яркое белое пламя, рассыпалось брызгами, из выбитого блистера вымахнула струя дыма и через несколько секунд вертолет горел уже целиком.

Петраков почувствовал, как ему сдавило скулы – будто кто-то вцепился в них железными пальцами, стиснул, глаза сделались влажными. Глаза у него всегда делаются противно влажными, когда он видит, что гибнет небесная машина, самолет или «вертушка», любовь к небесной технике у Петракова родилась, когда он еще был курсантом военного училища в Харькове и готовился стать авиационным инженером. Но потом судьба его совершила поворот, зигзаг, как подметил покойный отец, уволокла в сторону от авиационных тропок – он ушел в спецназ.

И не простой спецназ, а элитный, погранцовый, который только председателю Комитета госбезопасности, да командующему погранвойсками и подчинялся.

Работал этот спецназ исключительно по высоким приказам, когда надо было вызволить какого-нибудь завалившегося сынка члена Политбюро, вздумавшего поиграть в шпионские игры, вытащить его – и его вытаскивали, козла эдакого, людей теряли, а дурака вытаскивали, и еще извинялись перед ним, что причинили неудобство, вывозя на нашу территорию в багажнике какого-нибудь автомобиля, либо еще в чем-то, хотя козлу этому надо было бить морду. Так бить, чтобы сопли летели во все стороны, но вместо этого с ним: «Тю-тю-тю, сю-сю-сю, пардоньте, у вас случайно пуговичка на пиджаке оторвалась, не пришить ли ее вам?» – и так далее.

Среди сынков могущественных людей той поры появилась некая мода – пойти работать шпионом: это и непыльно, все время в добротном костюме, с ухоженными руками, с неплохой зарплатой в валюте, с ощущением покоя в душе – если что-то и случится, если сынок и не добудет снимки какого-нибудь нового американского танка или французской ракеты – ничего страшного. Папаня ведь в любом случае обязательно прикроет, скажет нужное слово, а где надо и ботинком топнет – он же ведь в ПеБэ состоит, а ПеБэ – Политбюро тогда было великой силой...

И шли никуда не годные сынки учиться благородной профессии разведчика, учились в специальных школах спустя рукава, а если быть точнее, то вовсе не учились – ежели кто-то пытался в порядке наказания за лень пощипать их за щеку, либо малость покрутить ухо, – незамедлительно мчались жаловаться папаням и на следующий день строгий преподаватель исчезал из родного учебного заведения... Заваливались же сынки на мелочах, ловили их по пустякам, как маленьких несмышленишек: то вылезет такой разведчик из сортира, застегивая на ходу ширинку, чего никогда не сделает местный житель – сразу становится видно: чужой, то стакан водки жажнет залпом, как у папани на даче – это также способен сделать только чужой, то, выписывая банковский чек, к семерочке вдруг приделает поперечную перекладинку, то еще на чем-нибудь проявится...

Местные власти таких дураков обычно не задерживали, они хорошо знали, кто есть кто и пускали по следу хвосты – им важно было выяснить, кто из их сограждан продался... А когда становилось ясно, что козел выдоен до дна, от него не получить не то, чтобы стакан молока, но и клочок шерсти, и даже кусок копыта, они принимали решение арестовать «шпиёна». Вот тогда спецназ и получал приказ: «На выход!»

Таких групп, как петраковская, в спецназе было около десятка, выбивали их почем зря, не было ни одной войны, в которой они не принимали бы участие. А всякая война – это потери. Неверно говорят, что спецназ не теряет людей. Теряет, еще как теряет...

Группу Петракова в Афганистане, например, все время бросали туда, где пасовал армейский спецназ. В том числе – и на выполнение сугубо армейских заданий, каковым было, например, сегодняшнее.

Петраков покрутил головой горестно: сейчас вертолет рухнет в пропасть.

Но горящий, плюющийся яркими огненными ошмотьями вертолет продолжал держаться в воздухе – двигатель у него был хорошо отлажен, издырявленные лопасти продолжали рубить воздух. В кабине «вертушки» ничего, кроме огня, уже не было.

Погибли люди. У Петракова внутри возникло что-то ошпаривающее, злое, зубы сжались сами по себе, он почувствовал, как отходит «заморозка» в раненой руке – сдалась под нервным напором, жгучая резь прошибла руку до самого плеча, нырнула в грудь, Петраков сжал зубы сильнее, борясь с собою, с болью, с оторопью, с явью – ему не хотелось верить, что летчики погибли, но явь – жестокая штука, – внутри у него родились слезы и тут же угаšli.

В следующую секунду в вертолете что-то рвануло, кувыркаясь криво, страшно, в сторону понеслась обломленная лопасть, всадились торцом в бок горы, застряла в нем, будто нож в огромной буханке хлеба, вертолет ударил по ней хвостом, выбил из тела горы и лопасть закувыркалась вниз. Следом, сыпя пламенем, горящими кусками обшивки, резины, еще чего-то горячего, едкого, закувыркался вертолет. Через полминуты внизу грохнул взрыв.

Все.

Первый вертолет тем временем завис над спецназовцами, накрыл их своим брюхом, словно насадка, развернулся, чуть приподнялся, задирая по-сорочьи хвост и отплюнулся висющим на закрылке «нурсом». Петракова вжало в землю вырвавшимся из сопла «нурса» жаром, следом вертолет пустил второй «нурс». Обе ракеты всадились в срез расщелины, где был установлен первый ДШК – расчет был верный: срубленными камнями «нурсы» завалили расщелину.

Вертолет чуть опустился, под маслянистым, испачканным грязью брюхом его было жарко, в обшивке виднелось несколько рваных дыр – следы пуль, из одной, косо пробитой щели, схожей с ушком иглки, капала черная вонючая жидкость – какая-то застарелая смазка. Петраков хоть и изучал в Харькове вертолеты – хорошо изучал, до посинения лица и помутнения в мозгах, не смог определить, что это за жижка, хотя капала она ему прямо на голову. Петраков откатился в сторону, увидел, как Костин, приподнявшись над камнями, бьет из автомата по вставшим из пыли бороатым «душкам». Один из бородачей упал на камни, остальные попрятались вновь.

Одним колесом вертолет завис над пропастью, скособочился – встать ровно он не мог, в машине было что-то повреждено – другим колесом, ободранным, помятым, он уперся в камни, просел хвостом.

Костин снова дал очередь по душманам, прокричал не оборачиваясь:

– Командир, быстрее в вертолет! Давай быстрее! Я прикрою!

Петраков, пригнувшись, метнулся к краю площадки, потряс головой от неприятного маслянистого жара, ссыпавшегося на него, словно железная окалина, с брюха вертолета, выскользнул из-под тела машины, готовый его размять, увидел прямо перед собою железную лесенку, ведущую в чрево «вертушки», подхватил автомат под ремень и вцепился пальцами в округлую ступеньку лесенки, но подтянуться не смог – пальцы сорвались, боль прошибла раненую руку, от боли в глотке даже возникла тошнота, руку словно бы снова перешибли пулей. Петраков нацепил автомат на шею на манер хомута, присел и резко выпрямился, стараясь ухватиться за какую-нибудь скобу, находящуюся за вертолетным порошком, поскреб ногтями по неровному,

с налипью – округлыми, как пшено, точками вареного металла, оставленных автогеном, ни за что не уцепился и рухнул вниз.

Ну хотя бы кто-нибудь вылез из «вертушки», помог ему... Петраков захрипел призывно, но нет, никто не кинулся к нему на помощь. Это что же, в вертолете нет бортехника? Но тогда кто же распахнул ему дверь? Не дух же бестелесный...

Петраков снова сделал нырок к земле и резко выпрямился, вцепился пальцами в наружную скобу, прикрученную болтами к металлу, подтянулся, но перебитая рука помешала удержаться, она чугунным безменом потянула все его тело в сторону, перекособочила. Петраков засипел натуженно, зовя на помощь застрявшего где-то бортехника, но на его хрип никто не отозвался. Что за напасть! Куда подевались люди? Он попытался извернуться, подтянуть тело к скобе, уцепиться за нее хотя бы зубами, но попытка не удалась, он лишь качнулся, скрючился всем телом, будто подшибленный зверь, засипел снова, дернулся один раз, другой, третий...

– Хы-ы-ы...

За спиной опять ударил автомат Костина – «душки» готовы были впереться в вертолет вместе со спецназовцами... Но тут будет как в анекдоте про слона: здоровый слон должен съесть в день двенадцать пудов сена, три – кукурузы, пять картофеля, десять килограммов сахара, семнадцать буханок хлеба. Съесть-то он все это съест, да кто ж ему даст?

– Во, суки назойливые! – выругался Костин, снова дал автоматную очередь, короткую, всего в три хлопка – патроны у Костина были на исходе. У Петракова их тоже осталось чуть – едва ли не по пальцам можно пересчитать.

Послышался вскрик. Душманы приняли потерю бойца в своих рядах как должное и дружно, в несколько глоток, слитых в одну, завопили:

– Алла акбар!

Конечно, душа этого бородача через несколько минут окажется в заоблачной выси, в непосредственной близости к аллаху, если уже не оказалась – такой порядок заведен у правоверных, но забот у меткого стрелка Лени Костина от этого меньше не стало – душманов было еще много.

– Когда же вас, гадов, станет поменьше? – просипел Костин, вновь дал короткую точную очередь.

Петраков перевел дух, собрался с силами, напрягся – от напряжения у него на шее вздулись жилы, целые бугры, – просипел:

– Леня, помоги!

Костин еще раз отплюнулся короткой очередью, отщелкнул пустой магазин, швырнул его за камни, в пропасть, магазин – не окуроч, не консервная жестянка с точным обозначением того, что в ней было и где произведен товар – на магазине нет никакой маркировки, такие магазины могут быть у кого угодно – у американцев, пакистанцев, белуджей, китайцев, у самих «душков», поэтому Костин так вольно и обошелся с ним, – всадил в автомат новый рожок. Выругался – рожок последний. Больше патронов нет.

– Леня, помоги! – Петраков вновь напрягся до красноты в глазах.

Напарник услышал, метнулся к нему.

– Держись, командир! – он с лету боднул Петракова плечом, вогнал его в горячий вертолетный трюм, пахнувший порохом, кровью, горелым металлом и спекшимся машинным маслом, Петраков только крикнул от боли, – следом Костин запрыгнул в трюм сам, выкрикнул горласто, будто космонавт: – Поехали!

Корпус вертолета трясся, над головой у Петракова болтались порванные провода, два оконца-блистера были выбиты, в бок зияла рванина, сквозь которую в трюм просачивался желтый волокнистый свет, схожий с ядовитым дымом. В пилотской кабине копошился седой скуластый человек в сером хлопчатобумажном комбинезоне, натянутом прямо на голое тело, обеими руками он держался за толстый, схожий с массивным древесным обрубком костыль

шаг-газа, приплясывал вокруг него, ощеривая неровные прокуренные зубы. На командирском сидении грузно обвис молодой парень с золотистой двухмакушечной головой, из открытого рта сочилась кровь, одна рука, правая, была неловко подмята телом. По этой руке было понятно, что командир убит.

Второй пилот неподвижно уткнулся лицом в приборную доску.

Петраков не выдержал, застонал – тело его вновь пробила ошпаривающая, будто огонь, боль, надо бы еще раз уколаться, но было не до того – счет времени сейчас пошел уже не на минуты – на секунды.

– Поехали! – вторично прокричал из двери Костин, вскинул автомат. Ствол автомата окрасился бледными розовыми огнями.

Звук выстрелов в стуке работающего мотора не было слышно. Петраков поспешно передвинулся в кабину.

Борттехник, удерживавший вертолет в «висячем» положении, вскрикнул:

– Ой! – сглотнул слюну, собравшуюся во рту и запричитал громко, на одной ноте, не делая пауз: – Ой-ей-ей-ей! Командира, вишь, убило! Ой-ей-ей-ей! А Терентьич ранен, без сознания находится... Ой-ей-ей! Что делать-то?

Стало понятно, почему никто не протянул Петракову руку из трюма, не помог вползти в вертолет.

– Поехали! – вновь послышался крик Костина. – Патроны кончаются!

Борттехник взвизгнул тоненько, по-ребячьи, словно обо что-то обжегся, подпрыгнул, но рукоятки шаг-газа не выпустил, запричитал, как и прежде, громко:

– Ой-ей-ей-ей!

Если бы не борттехник, вертолет давно бы свалился в бездну. Петраков пролез в кабину, ухватил убитого командира одной рукой за замызанную куртку, подпоясанную кожаным солдатским ремнем, на котором висел пистолет, кряхтя, выволок в коридорчик, положил на ребристый железный пол, сбросил с шеи автомат, положил на убитого. Рукой отогнал борттехника от рукоятки шаг-газа.

– Ой-ей-ей! – продолжал причитать тот знакомо, глянул ошалело на Петракова: – Ты чего, пехтура? Мы же сейчас завалимся!

– Отойди! – зарычал на него Петраков. – Отпусти шаг-газ! Иначе застрелю!

Борттехник отпустил рукоять шаг-газа, Петраков перехватил ее. Вот гдегодились знания, полученные в Харьковском авиационном училище. Он добавил оборотов в движок и приподнял хвост вертолета – хоть никогда и не пилотировал «Ми-восьмой», но на тренажере провел несколько часов, и это вон как пошло в строку, – получилось, получи-илось! Получилось то, что надо. Петраков закусил зубами верхнюю, жесткую от солнца и грязи губу, приподнял нос вертолета, чуть качнул рукоять шаг-газа в сторону и вертолет послушно понесся в пропасть.

– Ой-ей-ей! – вновь запричитал борттехник, больно вцепился пальцами в его руку, Петраков резко оттолкнул его. Борттехник свалился на второго пилота, прорыдал задавленно: – Погибаем!

– Вр-решь, не возьмешь! – Петраков отплюнулся соленым – во рту была кровь, – добавил газа до упора и повел вертолет вверх, прочь из этого угрюмого темного ущелья, подальше от духоты, стрельбы, боли.

В проеме кабины показался Леня Костин. Присвистнул:

– Ну, блин, командир!

Лицо у него было измазанным грязью, страшноватым, чужим, лишь зубы да глаза светло посверкивали, по щеке стекала кровь – в подскулье впился каменный осколок, просек кожу до кости, он нагнулся над командиром вертолета, подвернул ему веки и безнадежно махнул рукой:

– Готов!

В следующий миг он словно бы что-то почувствовал, метнулся в трюм, с ходу всадил ствол автомата в выбитый блистер и нажал на спусковой крючок. Лицо Костина исказилось, сделалось жестким. Автомат заплясал в его руках. Патронов в магазине было с гулькин нос и Костин расстрелял рожок до конца. Выдернул из патроноприемника, с сожалением бросил под ноги. Отер рукою лоб. Неведомо чем – душою, сердцем, кожей, лопатками своими, рассаженной щекой, ноющим от усталости затылком – этого не знает никто, – он успел засечь двух «душков», вынырнувших из пещеры и приготовившихся садануть по «вертушке» из гранатомета, Костин опередил их всего на полмгновения и уложил. И тяжелый станковый гранатомет изувечил – больше никто никогда уже не будет из него стрелять.

А Петраков продолжал упрямо тянуть вертолет по изгибистому пыльному ущелью дальше, – подниматься над хребтами было нельзя, по машине могли ударить с каменных вершин: огневые точки были понатыканы у душманов кругом, везде, куда ни заверни... Обязательно напорешься на черные стволы ДШК. Боль в пробитой руке немного утихла, рука висела неподвижно, марлевый тампон под гуттаперчевой нахлобучкой пропитался кровью, резина вздулась, будто пузырь – если поврежден нерв – будет плохо, придется тогда Петракову переходить с живой боевой работы на штабную, пыльную... А это – противно, ковыряться с бумажками Петраков очень не любил.

Один раз по нему все-таки ударили из ДШК – сбоку к вертолету потянулся длинный красный шлейф, почему-то замедленный, Петраков засек его замедленным боковым зрением, вовремя среагировал и швырнул вертолет вниз, уходя в мертвую безопасную зону, – успел, дымная яркая струя прошла над машиной и растворилась в пространстве.

В кабину вновь всунулся Костин, ухватил убитого командира под мышки и отволлок его подальше в трюм, в самый хвост, потом вытащил в трюм беспамятного, неповоротливого, сильно отяжелевшего второго пилота, положил его на пол. Борттехник сидел на откидной дюралевой скамейке и скулил:

– Ой! Ой-ей-ей! – в нем, похоже, что-то закоротило, провод сомкнулся с проводом, нерв с нервом, замыкание помutilо мозги. – Ой-ей-ей! – Глаза у борттехника при виде Костина испуганно закатились под лоб. Убитого командира он уже не боялся – боялся живого Костина. – Ой-ей-ей!

Костин подхватил с пола автомат Петракова, кинулся к выбитому блистеру, ничего в нем не увидел, и успокаивающе тронул борттехника за плечо:

– Тихо, друг! Все будет о'кей!

По одну сторону вертолета курилась бездна, рождающая недобрые мысли – влипли они, вряд ли удастся отсюда выбраться, а так хотелось выбраться, вернуться домой, в Россию, хотя бы глазком одним увидеть дом, родных людей, – по другую сторону также курилась бездна... Иногда они ныряли в темную коричневую муть, пыль накрывала их целиком, вместе с винтом, который скрипел, трещал, будто старая мясорубка, но держался, – пока держался, – а раз держится техника, то и люди будут держаться.

Пыльный воздух был плотным, без ям, вертолет не проваливался в бездонь, хрипел, будто перегруженная лошадь и, впрягшись вместе с людьми в одно тягло, упрямо тащился по пространству на север, к своим. Главное, чтобы под брюхом оказался какой-нибудь палаточный городок с «бетеэрами» и «беэмпешками», эти машины – верный признак того, что в городке находятся наши.

– Леня! – прокричал Петраков что было силы, но голоса своего не услышал, голос увяз в лязганье вертолетного двигателя, а может, его просто не было, Петракову сделалось неприятно, в подглазьи, справа, у него задергалась какая-то суматошная «нервенная» жилка, перекосила лицо...

Но вот такая вещь – Петраков своего голоса не услышал, а Костин услышал, точнее, засек его – донеслось из кабины какое-то странное, едва приметное клекотанье, кольнуло ухо

и исчезло, Костин понял – командир зовет. Встревоженно глянув в пустоту выбитого блистера, он метнулся в кабину.

– Командир, звал?

Петраков удерживал рукоять шаг-газа в ровном положении, навалившись на него всем телом, зажав грудной клеткой, весом своим, рукой лишь помогал себе, туловище шаг-газа держалось под ним, норовило выскользнуть, но Петраков не давал и одновременно он задирает голову, стараясь заглянуть в переднее стекло – как там горы, скоро ли кончатся?

В нижнем стекле курился коричневый дым, перемещался с места на место, тревожил душу – весь Афганистан был затянут коричневым дымом, ничего живого в нем не было, все мертвое, Петракову хотелось зажмурить глаза: слишком уж тошно делалось ему от этой коричневой.

– Командир, звал? – переспросил Костин, он не знал, как подступиться к скрюченному Петракову, тронешь его за плечо – шаг-газ вырвется из-под живота и «вертушка» нырнет вниз. Тогда – все. – Звал?

– Звал, – наконец отозвался Петраков, голос у него был чужой, какой-то дырявый, донельзя измочаленный. – Звал. Сделай мне укол в раненую руку.

Перешибленная рука висела плетью, пальцы опухли, превратились в негнущиеся толстые сосиски, резиновая нахлобучка, обпившейся пиявкой сидевшая на руке, вздулась безобразно, косо – того гляди отклеится. Костин вытащил из кармана пластмассовый конвертик с заряженными шприцами, выдернул один, примерился к плечу Петракова.

– Коли! – приказал тот, всосал в себя сквозь зубы воздух.

Боль терпеть нельзя, ее обязательно надо убирать – неправы те, кто считает, что боль не надо давить лекарствами, ее нужно перетерпеть и тогда все будет в порядке, неверно это: боль ослабляет сердце, нервные каналы превращает в гниль, сушит мышцы, от нее даже зубы выпадают – и свои собственные, естественные зубы, и вставные, металлические. Костин примерился, всадил иглу Петракову в плечо. Петраков вздрогнул, вновь всосал в себя воздух и, вдавившись подбородком в рубчатую облатку шаг-газа, прокричал совершенно неожиданно:

– Хорошо!

Они вышли к своим – в уютной зеленой долинке, живым радостным блюдцем вдавившейся в пятак между тремя хребтами сразу, увидели два десятка выгоревших до бумажной белизны палаток, песчаную площадку, огороженную врытыми в землю автомобильными покрышками, красный флаг, воткнутый в большой железный обод, снятый с грузовика и Петраков обрадовано протиснул сквозь сжатые зубы – дыхание было горячим, ему показалось, что он обварился:

– На-аши!

В долинке стояла десантная рота, перекрывала крупную караванную тропу, по которой из Пакистана переправляли оружие. Петраков повел «вертушку» вниз, целя носом, в который был врезан пулеметный ствол, в деревянный флагшток, украшенный выцветшим красным полотном, потом отвернул немного вправо и плюхнулся на зеленую площадку в десяти метрах от палатки. Подумал только, что рукоять шаг-газа, которую он удерживал своим телом, переломает ему все кости, но рукоять не выпустил и от удара о землю едва не насадился на нее, выплюнул изо рта кровавой сгусток, устало повалился на спину, на грязный, испачканный гарью и потом пол вертолета, прошептал неверяще:

– На-аши!

Леня Костин сел на пол рядом с ним, помотал головой, словно хотел вытряхнуть из ушей тяжелый сверлящий звон:

– Дошли-таки!

Петраков не услышал его, приподнял голову и стукнулся затылком о ребристый железный пол, повторил заведенно:

– На-аши! – потом приподнялся вновь, поискал взглядом глаза своего напарника, подмигнул ему.

Капитан Костин в этом походе был его спиной, его тылом, если бы не Леня, Петраков не смог бы вывести остатки группы – его и себя – к своим, не смог бы доставить документы.

Впрочем, нечего гадать и мусолить пресловутое «бы»: группа на то и группа, чтобы быть повязанной в круговую взаимовыручкой, словно веревкой; в группе, как в песне: один за всех и все за одного. Только люди, поющие песню, над словами не задумываются – больше задумываются над мотивом, вранье в мотиве значит больше, чем вранье в словах, – а группа Петракова вырезала эти слова на живом теле, каждый член команды на самом себе...

Снаружи в бок вертолета стали стучать прикладами:

– Открывай, славяне! – потребовал кто-то густым командирским басом.

– Если, конечно, это славяне, – добавил кто-то.

– Славяне, славяне, – пробормотал Петраков. Губы у него были колючими, жесткими, как наждак, цеплялись друг за друга, как две стороны одежной липучки. – Открой им! – приказал он Костину. – Да поосторожнее, не то из автомата могут полоснуть.

Костин ползком стал пробираться к выходу – выпрямиться не было сил, так устал, – Петраков просипел ему вслед:

– Какое сегодня число?

Часы у Костина были с календарем, командирские, водопулеи проче не проницаемые, многострадальные – побывали вместе с хозяином в разных передрягах, но тем не менее безотказные.

– Действительно, командир, – Костин остановился. – Мы же потеряли счет времени... Что тут на безотказных кремлевских? Та-ак. Сегодня – четырнадцатое число. Месяц, командир, сам знаешь, какой. Самый жаркий месяц лета, июль.

Число это – четырнадцатое, – Петраков запомнил навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Проклятое четырнадцатое число.

Погиб капитан Костин ровно через месяц, также четырнадцатого числа. Они несколько дней следили за бандой Хабибулло, затем Хабибулло благополучно убрали, а инструктора – холеного розовощекого, не растерявшего свою сытость даже в банде, американца выкрали. Американец брыкался, визжал, не хотел идти в плен, поэтому его пришлось связать. Слава Богу, по дороге попался бесхозный ишачок – удрал от своего кормильца и поильца, голодный бродил по пескам, увидев людей, со всех ног бросился к ним, как к родным, заревел радостно, – раз появился помощник, то американца пришлось тюком завалить на ишачью спину.

Банда Хабибулло не разбежалась, как того хотелось спецназовцам, существовало в ней что-то скрепляющее помимо их неряшливого бородатого предводителя, не признававшего воды, мывшегося только песком, банда устремилась в погоню за спецназовцами. Пришлось отбиваться.

Капитан Костин был ранен. Петраков распорядился сдернуть с ишака американца и положить вместо него Леню, но капитан в ответ лишь отрицательно мотнул головой:

– Еще не хватало – на ишака! Вы идите... Я прикрою вас!

Мешкать было нельзя – уже слышались близкие крики душков, раздалась автоматная очередь. Леня остался прикрывать группу. Он понимал, что станет для нее обузой, ишак – дело ненадежное, да ему уже успели пробить ляжку пулей – по шкуре текла кровь, через полтора километра этот ишак ляжет на песок и откажется идти, а с другой стороны, все равно кто-то должен остаться, прикрыть Петракова, группу, поэтому останется он... Все, финита! Иначе погибнут все, целиком.

Петраков ушел с вывернутой головой – прощался с Леной. Глаза у него были мокрые – то ли от слез, то ли от пота. Группа вскарабкалась на бархан и исчезла.

Капитан разложил перед собою гранаты и автоматные рожки, стиснул зубы, с тоскою глянул на чужое желтое небо – как все же оно не похоже на небо российское... Передышка была недолгой – через три минуты на высокий, с загнутой макушкой бархан вскарабкалась галдящая банда Хабибулло. Капитан Костин приложился к автомату.

Через сорок минут раздался взрыв. Костин взорвал и себя, и навалившихся на него душманов.

Через неделю тело капитана удалось выменять на тело засыпавшегося в Кабуле резидента по прозвищу Инженер – тот был убит в ночной перестрелке, – и Петраков повез Леню домой. В цинковом гробу.

Когда гроб опускали на нескольких вышитых рушниках в могилу – на родине Лени, в цветущем полтавском селе, – Петраков столкнулся глазами с залитым слезами взглядом Лениной матери и прочитал в них горький вопрос: «Почему ты, командир, остался жив, а мой Леня – нет?» Петраков и сам не знал, почему, кто так распорядился, какой вершитель судеб? Ленина мать плакала, и Петраков плакал – у него в горле словно бы что-то закаменело, потом отогрелось и потекли растопленные теплом слезы. Ни сглотнуть их, ни сморгнуть.

Проще самому умереть, чем хоронить своего товарища, либо того хуже – объясняться с его матерью. В душе не то, чтобы пустота остается – пустым делается весь мир, гаснут все краски, делается нестерпимо душно, будто перед концом света. Ленина мама Марина Михайловна, как знал Петраков от самого Костина, все жилы вытянула из себя, чтобы дать сыну образование, поставить его на ноги, десять лет работала на двух работах, Леня был единственной надеждой в ее жизни, человеком, на которого она рассчитывала в старости – все будет кому кружку воды подать в постель, а теперь этой надежды не стало – все рухнуло с Лениной смертью... Лицо у Марины Михайловны было темным, сжавшимся, она смотрела на командира ее сына с немим вопросом, но ответа на него не получала...

Впрочем, вслух она так ничего и не сказала, только иногда брала Петракова пальцами за локоть и крепко стискивала его, заглядывала сверху вниз в лицо, словно хотела что-то понять, губы ее начинали шевелиться, но тут же замирали.

И вот он увидел во сне знакомое лицо, дружелюбно простецкое, с конопатым седлом на переносице и внимательными, всегда хранящими встревоженное выражение глазами, в горле у Петракова то ли от радости, то ли от горести, – в этом он не разобрался, – что-то задержалось, он услышал тихий скрипучий звук, напрягся, чтобы услышать звук вторично, но тот не повторился. Впрочем, и одного раза было достаточно, чтобы в сердце тупым гвоздем всадились тревога.

И сидит он сейчас у себя на кухне, в утренней тиши, любит красноватыми, пушистыми, круглыми, как теннисные мячики, птицами, свалившимися в их двор, выгнавшими из деревьев воробьев и деловито засуетившимися среди веток. Тело, еще не отошедшее ото сна, сладко ноет, хочется снова нырнуть назад, в сон, в постель, под легкое теплое одеяло, сваленное из облагороженной верблюжьей шерсти, но самое худое это дело – давать себе послабление, сбоев быть не должно.

Он затаился горьким, но таким вкусным, вызывающим тепло в висках, сигаретным дымом, выдохнул его в кулак и пришел к выводу, что Ленина душа неспроста его потревожила, видать, она напоминает, что забывать старых друзей нельзя – вот и требует к себе внимания... Надо пойти в церковь, поставить свечку за упокой души капитана Костина. Может, поговорить с батюшкой? Тогда и самому легче станет, и душе Лениной облегчение придет...

Самое лучшее время – это раннее утро, не истратившее ночной свежести и не набрякшее едкой бензиновой тяжестью, – через два часа в городе нечем будет дышать, запахом гари про-

питается даже свежая, только что выстиранная рубашка, пропитаются брюки и пиджак, во рту тоже оседает дух отработанного бензинового взвара, от дурной духоты некуда будет деться.

Он поднялся без единого звука, на цыпочках подошел к плите – и Ирина, и Наташка спят у него чрезвычайно чутко, просыпаются даже от жужжания мухи, поэтому Петраков старался передвигаться бесшумно, – поставил на конфорку чайник, нажал на кнопку зажигания, электрический сосок стрельнул веселой искрой в шипящую струйку, вылезшую из прорезей конфорки и газ полыхнул плоским голубоватым пламенем, жадно облизал бок чайника.

Петраков приподнял чайник, проверяя, есть ли в нем вода, – в чайнике бултыхнулся вчерашний неизрасходованный запас, – и Петраков, поставив чайник вновь на конфорку, на цыпочках вернулся обратно.

За первой сигаретой он запалил вторую.

И все же он разбудил жену – неосторожно опустил дужку чайника, – родилось тихое, но очень отчетливо слышимое звяканье, с ноги у Петракова свалился легкий, вырезанный из невесомой пузырчатой резины шлепанец, Ирина эти звуки засекла, появилась в дверях кухни с недовольным видом.

Красивое лицо ее было красноватым от сна, на щеке оттиснулась легкая плоская бороздка, оставленная наволочкой, светлые глаза были зло сжаты.

– И какие черти тебя так рано будят? – спросила она. – Ты что, потише шевелиться не можешь?

– Извини, пожалуйста, – виновато произнес Петраков.

– Топчешься на кухне, как слон в посудной лавке...

– Еще раз извини.

Она подошла к окну, потянулась по-кошачьи гибко, заглядывая вниз, внутрь узкого пространства, отведенного жилому дому под внутренний двор, усмехнулась недобро, затем похлопала узкой точеной ладошкой по рту:

– Вместо дворника ворона какая-то ходит, по асфальту клювом скребет. Скоро, наверное, и ее заставят метлой махать.

Петраков, вспомнив ворону, так умело размочившую горбушку хлеба в луже, улыбнулся – ему даже на душе теплее сделалось, по лицу словно бы пробежал ласкающий ветерок.

– Она здесь живет, – произнес он и почувствовал, что слова эти, как и та засохшая горбушка хлеба, легли на твердый, лишенный жизни асфальт.

Жена сжала голубые глаза в темные недобрые щелки.

– Слушай, Петраков... Ну, хоть бы ты уехал куда-нибудь в командировку, что ли, э? Козам репки крутить или с косой бродить по капустным полям России... Попросись там у своего начальства в командировку, э? Ну чего ему стоит отправить тебя куда-нибудь на уборку шелухи с луковых полей? Или навоза, э? Можешь съездить на лесозаготовки, ты человек здоровый, по два бревна таскать способен, от тебя может быть большая польза демократической России... Э?

Чем занимается Петраков, в каких местах и по каким делам ему приходится бывать, жена не знала. Считала, что он работает кем-то вроде наладчика компрессоров, бензиновых пил или автоматов по расфасовке навоза и продаже газет и апельсинового сока. Про ранения свои Петраков ей никогда не рассказывал, дома появлялся подлеченным, довольным жизнью, свеженьким, вручал жене сувенир, якобы приобретенный в Краснодаре или Братске – со зримыми приметами тех мест, вплоть до надписей «Привет из...» Жена принимала подарки с равнодушным видом и уходила к себе в комнату.

А вот Наталья, та подаркам всегда радовалась, бросалась к отцу на шею с визгом «Папка!», обмусоливала его губами так, что и умываться не надо было... Петраков и ордена свои домашним никогда не показывал: солдатский, с тусклым рубиновым покрытием – Красной Звезды, два – Красного Знамени и два новомодных серебряных креста, выдуманных

каким-то лихим умельцем из кремлевской канцелярии – ордена Мужества, но раз государство решило, что такие кресты нужны в списке прочих наград, то Петраков не стал от них отказываться – пусть валяются в шкатулке. Все равно Петраков свои ордена не надевает и никогда не наденет.

Не дождавшись ответа, Ирина махнула рукой, вновь глянула в окно на ворону, вздумавшую пробовать своим клювом асфальт во дворе на прочность – ворона начала старательно, будто шахтер-ударник пятилетки, долбить его.

– Во, гадина! – Ирина усмехнулась. Повернулась к Петракову, сузила глаза. – Слушай, паровоз, а дымить ты прекратить не можешь, э?

Утро было испорчено окончательно. Петраков с сожалением придавил окурок – такой вкусный, горький, горячий, – к боковушке пепельницы, мусор, что набрался в пепельнице, ссыпал в газету, свернул кулком и выбросил в отхожее ведро. Поднял обе руки, словно бы сдавался в плен, отряхнул одну ладонь о другую.

– Паяц! – презрительно произнесла жена.

А какой нежной, какой податливой, послушной, непохожей на нынешнюю дерганую, нервную, злую женщину, была она раньше, когда они еще «женихались»; Петраков даже предположить не мог, что такое кроткое существо может так здорово измениться. Что-то тоскливое, далекое шевельнулось в нем, на злость и презрение хотелось ответить тем же, но Петраков подавил в себе это желание, примиряюще улыбнулся жене. Та отвернулась от него.

Конечно, можно было бы развестись с Ириной – чего маяться, все равно нормальной жизни с ней нет и не будет, – но с другой стороны, что тогда будет с дочкой, Ирина же ее не отдаст, да и жизнь у Петракова такая, что он не знает, что с ним будет завтра, послезавтра, и вообще, будет ли он жив? Что станет с Натальей, если вдруг ему, как Лене Костину, придется подкладывать под себя несколько гранат и зубами рвать веревку, привязанную к чеке одной из них? Кроме того, хоть и невенчанная она с Ириной, а все равно она жена – даже такая, как Ирина, дана ему Богом и если на небесах решили, что Петракову надо маяться с такой женой – значит, надо маяться.

Возвращаясь домой из очередной поездки на «навозные поля», он подолгу не выходил из квартиры, отмякал душой, жене, которая настойчиво интересовалась у него, почему же он не идет на работу и почему в его рабочем расписании – такие огромные дыры, кто вообще позволяет ему столько времени заниматься ничегонеделаньем, отвечал: «Это все – плата за переработки в командировке».

– А нельзя эти переработки прибавить к отпуску? – настойчиво допытывалась она. – Или еще лучше – оплатить это время по тройному тарифу?

– Нельзя.

– Почему?

– Много раз спрашивал, говорят – не положено по закону...

По штатному реестру он был обычным «одеэровцем» – офицером действующего резерва, человеком, живущим по особому расписанию; собирали «одеэровцев» на тренировки обычными военкоматовскими повестками, в перерывах между «командировками» они вели жизнь этаких трудолюбивых дачников, любящих поковыряться в земле, рыболовов-червячников, которых хлебом не корми, дай только посидеть с удочкой на берегу какого-нибудь тихого карасевого болота, вытащить пару лаптеобразных рыб, коллекционеров марок, монет, спичечных этикеток и игральных карт, любителей чинить велосипеды и выращивать рассаду на подоконнике – все это действительно было до очередного простенького листка остистой некачественной бумаги с непропечатанными линейками и текстом, написанным поверх линеек расплывающимися синими чернилами, внезапно появившегося в почтовом ящике – очередной повестки...

Уезжая из Москвы, Петраков забывал о доме, о семье, об Ирине – вспоминал только Наталью.

На кухне у Петраковых стояла «двойка» – телевизор с вмонтированным в него видеомагнитофоном, Ирина уселась за стол, где только что сидел Петраков, помахала перед ртом ладонью, давя в себе зевок, потянулась к плоскому, похожему на шоколадку пульту телевизора, прошлась одним пальцем по клавиатуре.

– Во телевидение! Совсем нечего смотреть! Обленились, коты жирные, – глаза у нее сжались в щелки, в них забегали проворные светлячки, Петраков хорошо знал, что означают такие глаза у жены. – Черт те что показывают, – Ирина перевела взгляд на мужа. – Эй, гараж! Сходи вниз, принеси из почтового ящика газету с телепрограммой!

Петраков молча кивнул, натянул на ноги кроссовки и проворно сбежал вниз.

Две газеты, «Труд» и «МК», как нынче называют «Московский комсомолец», сложенные вчетверо, уже теснились в неказистом железном ящичке. Какой-то юный гений прилепил к крышке ящика жвачку. Петраков сбил ее на пол щелчком, поглядел на желтоватый, твердый, как плохая резина, шарик – пристанет ведь к чьей-нибудь подошве, будет гулять по всему подъезду, – точным ударом кроссовки вогнал его в щель под лестницей.

Развернул газеты. Из «МК» выпал небольшой листок бумаги с расплывающимся чернильным текстом. Повестка из военкомата. Петраков с шумом втянул в себя воздух, задержал его в груди. Все, домашняя маята кончилась – с нынешнего дня он снова в «командировке». Некоторое время он стоял неподвижно, словно бы прислушиваясь к самому себе, потом, получив некий толчок из глубины организма, двинулся по лестнице вверх.

Поднявшись, он отдал газеты Ирине, сам сел к телефону. Аппарат он недавно поставил новый, плоский, модный, качественный – «панасоник», разговаривать по нему – одно удовольствие, такое впечатление, что собеседник сидит в соседней комнате, – сделал несколько незначительных звонков, затем прошел на кухню и сказал жене, уставившейся сделавшимся вдруг неподвижным взглядом в выпуклый экран «двойки»:

– Я отбываю в командировку...

– Мои молитвы, что ли, действовали? – Ирина, не отрывая глаз от экрана, усмехнулась. – Похоже, услышал их кто-то... Э?

– Вполне возможно. Сейчас разговаривал с начальством на работе, – Петраков врал напропалую, ни с каким начальником он не разговаривал, – так что мне велено ехать!

– Приятная новость, – Ирина усмехнулась вновь, пошевелила ртом, словно бы хотела что-то стряхнуть с губ, проговорила недовольно: – Эй, гараж, исчезни, не мешай мне смотреть кино... Кино только что началось.

Лицо у Петракова на мгновение изменилось, губы горько дрогнули, он повернулся и вышел из кухни.

Вечером он уже сидел в электричке и безразлично поглядывал в окно, забусенное дождем, – ехал на Сенеж, в военный городок, где когда-то располагались курсы «Выстрел» – очень престижные, популярные в армии, а также у журналистов всех мастей, у артистов и художников, тут всегда толпился разный творческий люд; сейчас же Высшие офицерские курсы заглохли. На них, как и на все остальное в России, не хватало денег. Но тем не менее курсы имели свои полигоны и стрельбища, благоустроенные корпуса гостиничного типа, в которых уже шуровали какие-то подозрительные жучки, имели свой парк гусеничной и колесной техники, сдавали внаймы машины и здания и поэтому все же кое-как сводили концы с концами.

Как оказалось, курсы эти нужны ныне всем – и армии, и пограничникам, и налоговой полиции, и внутренним войскам – у всех имелся к Сенежу интерес. Петраков любил бывать здесь, полторы недели сборов проходили, как один день – здесь он много тренировался, много

читал, много смотрел фильмов, даже выбирался на берег озера половить окуней – на все хватало времени. Здесь было хорошо.

Жаль только, сборы на Сенеже проходят редко – проводить их здесь накладно, а денег – ни лишних, ни нелишних, в Федеральной пограничной службе нет... Петраков уже забыл, когда здесь проходили сборы в последний раз...

Дверь вагона раздвинулась, в проеме появились двое парней в пятнистой форме. Один – на костылях, с черной повязкой на правом глазу и синеватой пороховой гарью, врезавшейся в кожу лица, второй был посвежее, поулыбчивее, без видимых признаков увечья. Оба – со значками и медалями. У второго парня был перекинут через плечо широкий пояс, похожий на орденскую ленту, к поясу прикреплена гитара.

Гитарист улыбнулся виновато, словно бы прося прощения за то, что дошел до жизни такой, хотя не он должен был просить прощения у людей, это люди должны были просить прощения у него, ведь он не виноват в том, что с ним и его товарищем так худо обошлось родное государство... Государство призвало его защищать конституцию и тех, кто сидит сверху, искалечило и выплюнуло на помойку, не обеспечив ни пенсией, ни положенными в таких случаях льготами и почетом, ни удобным жильем, поступило вон как – заставило слоняться по электричкам и побирушничать.

Напарник гитариста легонько хлопнул в ладони, гитарист потянул указательным пальцем одну струну, издавшую тонкий щемящий звук, потом другую, прихлопнул струны ладонью и запел.

Напарник поправил повязку на глазу, поддержал певца, голос у него был сильным, грубым, чуточку дребезжащим, но, несмотря на изъяны, – очень привлекательным. Было в этом голосе что-то такое, что брало за душу.

Ребята пели про Чечню, про друзей своих, не вышедших из боя, про танкиста, оставшегося лежать около своей спаленной машины на главной площади Грозного, про мать, которая дожидается дома сына, – и не дождетс я она его уже никогда... Петраков молча смотрел на певцов. Ему было жалко этих ребят.

Когда они проходили мимо него, собирая «гонорар», он достал из кармана несколько кредиток, не глядя бросил их в подставленный берет.

Отвернулся к окну. Мимо электропоезда проползла маленькая, мокрая, по-сиротски застывшая станция, на перроне которой стояли три старика с заплечными мешками – видно, странники, пошедшие по миру искать свою долю, – и слезящимися глазами смотрели на электричку: то ли благословляли ее, то ли, напротив, предостерегали от чего-то...

Старая перронная площадка, сложенная из выщербленных бетонных плит, внезапно обрвалась, за ней потянулись мокрые кусты с остатками листвы, мелькнул странно яркий, словно бы испачканный кровью небольшой кустик краснотала, неведомо как оказавшийся среди серо-коричневых безликих зарослей, а потом и кустов не стало – их сменил длинный унылый бугор, голый, скользкий, украшенный скомканными бумажками, бумажек было много, словно бы пассажиры каждого проходящего мимо поезда старались оставить на этом бугре свой след.

Хотелось курить. Можно было, конечно, выйти в тамбур, вымолить там сигаретку, но, с одной стороны, не хотелось покидать насиженное место у окна, оно тут же будет занято, а с другой, он не мог оставлять свои вещи без присмотра... Поэтому уж лучше обойтись без перекура.

Интересно, к чему приснилось ему круглое веснушчатое лицо Лени Костина, к каким переменам, к какой такой очередной жизненной передряге?

Унылый бугор сменился чахлым, растущим вкривь-вкось леском, затем электричка прогрохотала колесами по гулкому железному мосту, переброшенному через узкую квелую речку с истоптанными берегами и свинцовой темной водой, железная колея потянулась вверх, элек-

тричка загудела одышливо, будто паровоз, у которого не хватило сил, чтобы одолеть косогор, и остановилась.

Пассажиры в вагоне сидели понурые – сейчас ведь времена наступили такие, что случиться может чего угодно: какие-нибудь небритые чеченцы и бомбу под полотном зарыть могут, и линию электропроводов обрезать, и мосток, который они только что миновали, обвалить – они все могут... Через несколько минут электричка снова ожила, под полом вагона затрясся мотор, что-то застучало, взвыло, закашляло и мокрая неудобная земля поползла за окном.

На перроне Петракова встречал Петрович – худой, сторбленный, внешне неприметный человек со спокойным жестким взглядом, одетый в потертый джинсовый костюм. Петрович был полковником из разведуправления Федеральной пограничной службы, биографию имел такую, что ее хватило бы на шесть человек. Увидев Петракова, он призывно поднял руку:

– Петракову – от Петровича!

Петраков обрадовано стиснул ладонь Петровича:

– Петровичу – от Петракова! Сколько лет, сколько зим!

– Не так уж и много, если разобраться, – Петрович неожиданно вздохнул и повел головой в сторону. – Ладно, хватит объясняться в любви и жевать друг другу жилетки, потопали на автобус!

– Какой автобус, Петрович, какой автобус! От станции до курсов рукой подать. Пошли пешком, Петрович!

– Не положено, Петраков! И вообще – береги ноги, они тебе еще пригодятся, – Петрович докурил одну сигарету, швырнул ее в кособокую заплеванную урну, оказавшуюся на пути очень кстати, тут же достал другую сигарету.

С этой минуты Петраков и его группа будут неусыпно находиться под контролем Петровича – десяти минут не удастся пробыть без его присмотра, контролироваться будет вся их жизнь, вся без остатка. Таково одно из условий нынешнего их существования. До той поры так будет, пока они не вернутся с задания домой.

Автобус группе выдали не армейский – армейцы обычно ездят на небольших вертких автобусах Ликинского производства и морщатся, когда встречают такие же автобусы, украшенные черной полосой по борту – похоронные, такая тождественность корбит их, – группе выдали огромный роскошный «икарус», из старых еще, видимо, поставок, когда существовал СЭВ и венгры расплачивались за нашу нефть не только помидорами и колбасой «саями», а и автобусами. Ждал этот «икарус» своего часа где-нибудь на складе, а сейчас, когда уже подобрали все остатки, когда дырявыми стали даже танки, его выволокли из темноты на свет.

Через час после появления на Сенеже Петракова приехал капитан Виктор Семеркин – длинный, рукастый, немного неуклюжий, любитель гнуть пятаки: возьмет монету в руку, зажмет ее двумя пальцами по ребру, будто бельевой прищепкой, а концом большого пальца, самой «фигой», начинает давить. Пятак мигом приобретает форму детской панамки.

Больше всего Семеркин любил расправляться с двухцветными сторублевыми монетами: по окоему они, на итальянский манер, отлиты из «серебра», а середка – «золотая», из желтого металла. Стоит Семеркину чуть давануть своей «фигой», как цветная середка мигом вываливается из монеты, будто пиллюля.

За неизменную приверженность расправляться с «денежным фондом» страны Семеркина прозвали Финансистом.

Появившись в городке, Семеркин первым делом зашел к Петракову.

– Командир! – произнес он задушено, в горле у него неожиданно что-то хлюпнуло и он крепко сжал Петракова.

По части говорить Семеркин был небольшим мастаком, поэтому торжественных речей по поводу встречи от него ожидать не приходилось – достаточно объятий, – Петраков с ответными

речами также не стал распространяться. Он тоже обнял Семеркина, потом пожал ему руку и Семеркин ушел.

Финансист, как и Петраков, жил в Москве.

Ночью из Липецка приехал Сережа Проценко, капитан, стремительно ворвался в комнату Петракова, поставил ему на стол полиэтиленовую бутылку с надписью «Росинка. Липецкая минеральная вода». Бутылка по самую пробку была наполнена тягучей янтарной жидкостью.

– Что это?

– Мед. Ешь, пока в сахар не превратился.

Проценко, в отличие от Семеркина, был человеком шумным, там, где он появлялся, обязательно начиналась колготня. Проценко тискал людей, обнимался, целовался, с кем-то немедленно начинал меряться силой, он один умел производить столько шума, сколько не создавал целый взвод.

Петраков приподнял бутылку. Мед был густой, яркий, привораживал неким внутренним теплом, какой-то странной игрой, перемещениями, что происходили внутри бутылки, словно бы мед был живым. Петраков открутил пластмассовую пробку. На него из бутылки пахнуло летом, духом цветов, солнца, славного месяца июля.

– Разнотравье? – Петраков вопросительно приподнял одну бровь.

– Самое то. Только скорее разноцветье, командир, чем разнотравье. Так будет точнее.

Утром Петрович покати́л на станцию за четвертым членом группы – Петраков уже знал, что группа их будет состоять из четырех человек... Завтра начинаются тренировки. Только вот кого привезет Петрович, не знал, все конверты были запечатаны до приезда каждого члена команды, а последний конверт вообще казался самым запечатанным.

Впрочем, кто бы это ни был, все равно это будет свой человек, тот, который войдет в группу, как патрон в патронник. Людей, которые могли бы оказаться чужими, здесь нет, и быть не может. В этом спецназе – он с первого человека до последнего офицерский, – людей подбирают, подгоняют друг к другу, как членов космического экипажа, которым предстоит долгий полет... Совместимость должна быть полная, стопроцентная.

Петрович привез на «икарусе» Игоря Токарева – невысокого, ладно скроенного, с жестким лицом и неожиданно язвительным взглядом, хотя Токарев особо язвительным человеком не был – так, в меру.

Токарев жил под Москвой, в поселке, принадлежавшем Внуковскому авиапредприятию – отец его работал инженером на ремонтном заводе, где чинили лайнеры, – то, что он прибыл последним, имело свою причину: Игорь отдыхал в Сочи, по специальной путевке в актерском доме творчества.

– То-то я смотрю, ты стал на Олега Стриженова похож, – сказал ему Петрович.

Старший лейтенант Токарев не знал, кто такой Олег Стриженов, – это был актер не его поколения... Петрович укоризненно поцокал языком и ничего не сказал.

– Актерский дом творчества, актерский дом... – несколько минут спустя проворчал он. – Небось актрисулечку какую-нибудь легкомысленную, с ногами, растущими прямо из подмышек, себе присмотрел?

– Присмотрел, – подтвердил Токарев. – И не одну.

Комнаты членов групп располагались в коридоре рядком, по мере прибытия: первая – командира, остальные по линейке – Семеркина, Проценко, Токарева. Замыкала ряд комната Петровича.

– Никакого телефона не надо, – Токарев похмыкал в кулак, – перестукиваться можно...

Одновременно с ними, с шумом и грохотом музыки, с офицерским шиком в воинскую гостиницу въехала еще одна команда – спортсменов-стрелков. Им предстояли соревнования на первенство России, а затем – поездка на первенство Европы по стрельбе.

Вот стрелки и облюбовали себе озеро Сенеж с его живописными окрестностями и комфортабельную гостиницу бывших курсов «Выстрел». На группу Петракова стрелки покосились с нескрываемым презрением – в команде этой не было ни армейского лоска, ни броскости, ни наград, да и откуда быть наградам у этих незатейливых ребят, одетых в плохо подогнанную спортивную форму – мешковатые куртки, без цветных клиньев, врезов, эмблем и надписей, в такие же простенькие шаровары?

Сами же стрелки были экипированы по высшему разряду – и сами они постарались, и начальство постаралось, да и перед Европами разными не хотелось ударить в грязь лицом. Что мы хуже, что ли, разных Жаков Лавье и Куртов Мейеров?

– Тыловики, – решили лихие стрелки, глядя на своих соседей по этажу, – обычные повара, специалисты кашу с салом подавать на генеральские столы, да сладкие компоты варить барчукам. И сами не против у барского стола подкормиться – то бутерброд с икорочкой схряпать, то ломоть семги отправить в рот, то блюдо с севрюгой горячего копчения под полу сунуть – специалисты, словом.

Один из стрелков – высокий красивый майор по фамилии Сугробов, – спросил у Петракова:

– А вы, супоеды, откуда будете? Что-то не вижу ваших знаков различия. Ни званий, ни эмблем войсковой принадлежности...

Петраков улыбнулся готовно, как-то заискивающе – дескать, куда нам в лаптях, да в Большой театр, развел руками.

– Ага, – все понял майор, – за доблестную службу на ниве котлового довольствия вас прислали сюда отдохнуть...

– Так точно, товарищ майор, – не стал отрицать Петраков.

Майор поцокал языком и перешел на «ты»:

– А ты, специалист по жирному навару, честь по-настоящему отдавать умеешь?

Петраков, усмехнувшись про себя, склонил голову набок.

– Естественно, товарищ майор.

– Ну так отдай ее хоть один раз по-настоящему, – Сугробов, заводясь, повысил голос. – Или тебе главное в службе – пузо побольше отрастить?

– Никак нет!

– Тогда отдай честь!

Петраков с виноватым видом скосил глаза вначале на одно плечо, потом на другое: дескать, он не при погонах – как же без погон отдавать честь?

– Вот так вы, супоеды, и жируете, – в голосе Сугробова появились злые нотки, – а армия голодает и катится вниз! – Сугробов рубанул воздух рукой. – Ладно, черт с тобой! Все равно когда-нибудь попадешься и сядешь за решетку... Продукты ведь ворует? Ворует, – ответил он утвердительно сам себе и в следующий миг, потеряв интерес к Петракову, отвернулся от него. – Черт с тобой! Живи как живешь, копоти небо... Только не путайся у нас под ногами со своими мастерами шашлыка и жареных пончиков.

В ответ Петраков сожалеюще пожал плечами, подумал, что надо бы навести справки о майоре Сугробове.

Майор Сугробов оказался чемпионом Московского военного округа по стрельбе из малокалиберного пистолета. Но это было еще не все. Его назначили начальником сборной команды округа, потому он и вел себя так нахраписто, подобно мелкому купчику, у которого на приобретенном мундире не оказалось двух пуговиц, плюс ко всему перед ним не так проворно сдернул картуз зазевавшийся приказчик... Таких людей в спецназ не брали. А если и брали по ошибке, то очень быстро от них избавлялись.

Больше всего майора Сугробова задевало то, что его команда ездит на неудобных жестких «лиазиках», а мастера черпака и поварешки – на роскошном «икарусе». Что же это такое делается? Где справедливость?

У Сугробова даже лицо нехорошо задергалось, когда он увидел, как Петрович сажает своих людей в «Икарус», он сплюнул себе под ноги и процедил, сжимая зубы:

– Я это дело так не оставлю. Как только доберусь до штаба округа – обязательно узнаю, кто стоит за этими суповарами.

Связи у Сугробова имелись – отец у него был генерал-лейтенантом и занимал в штабе округа приметную должность, – майор Сугробов знал, что говорил...

– И тогда мы будем ездить на «икарусе», мы, а не они! – он назидательным жестом потыкал указательным пальцем в воздух. – Надо же, повара на мягком «икарусе» раскатывают, а боевые офицеры – на печи из сказки про Емелю-дурака и щуку с ее велениями, – майор никак не мог успокоиться. – Всюду взятки, коррупция, казнокрадство... Даже в армии!

Встретились они на стрельбище. Майор забрался высоко, на командирский бугор, откуда было видно далеко окрест, увидев группу Петракова, он опять взялся за старое – завелся шеф беспромашных стрелков...

Хозяйство на курсах «Выстрел» было большое, территория – огромная, город можно возвести, спортсмены с «поварами» могли бы никогда и не встретиться, если бы не общий «пиковый интерес» – стрельбище. Стрельбище на Сенеже было одно.

Команду спортсменов принимал сам начальник стрельбища – подполковник в полевой форме, молодцевато перетянутый ремнями, улыбающийся во все тридцать два зуба, от уха до уха; эта роскошнейшая улыбка не сходила с его лица, пока он занимался со спортсменами. Увидев «икарус», он оглянулся недоуменно, лоб у подполковника вытемнился, словно бы в голове начальника стрельбища возникла недобрая мысль, затем он засек полусгорбленного, какого-то очень домашнего, совсем не похожего на офицера Петровича, одетого в просторный, словно бы на вырост спортивный костюм, аккуратно спустившегося с нижней ступеньки «икаруса» на землю, и махнул рукой в мелком раздражении: еще не хватало, чтобы повара, пропахшие луковыми очистками, мешали тренироваться спортсменам. Со спортсменами приятно иметь дело, а с этими... Стояли бы себе у котлов в засаленных фартуках, помешивали бы поварешками щи, ан нет – не за свое дело взялись, на стрельбище полезли. Тьфу!

Недобрые тени на лице подполковника сгустились, у крыльев носа обозначились брезгливые складки, протянулись к губам.

Петрович, спокойный, с чуть раскачивающейся, будто с похмелья походкой, похожий на клешнястого краба, подошел к начальнику стрельбища.

– Товарищ подполковник...

Тот даже разговаривать не стал, махнул раздраженно рукой:

– Потом, потом, потом...

– Но у нас ведь тоже наряд на стрельбы.

– Я же сказал – потом, – подполковник повысил голос. – Будет дырка – постреляете, не будет – приедете завтра. Ничего с вами не случится.

– Ладно, – спокойным, будничным, почти бесцветным голосом проговорил Петрович. – Подождем, вдруг дырка действительно образуется? Нам спешить некуда. – Это не соответствовало истине. Впрочем, в следующую секунду Петрович поправился: – Пока некуда.

Конечно, день-два для раскачки им положен, но иногда события, стремительно развивающиеся где-нибудь в трех тысячах километров отсюда, спрессовывают время настолько, что не остается не только дней – даже минут. Но тем не менее группа каждый раз перед выходом на задание обязана сдать все зачеты.

Зачеты необходимо сдать по стрельбе из сорока видов оружия – от малокалиберного пистолета, вмещающегося в ладонь, до помповой винтовки, которой так лихо пользуются в

кино бравые американские полицейские, на каждый вид дается по три патрона, выбить надо не менее двадцати пяти очков, если стрелять по цифровой мишени, если же мишень предметная, изображающая врага – то в нее надо угодить не абы куда, а в конкретную точку... Три промаха – и все, офицер выводится из группы, к выходу он не готов, ему надо еще немного отдохнуть.

Петрович вернулся в «икарус», виновато развел руки.

– Подождем немного, ребята. Пусть спортсмены отстреляются.

– А если они не отстреляются? – задал резонный вопрос Токарев. – Если они будут сидеть по мишеням до самой ночи?

– Не будут, – убежденно произнес Петрович, – они через сорок минут устроят себе перерыв, кофий будут пить, шоколадки, чтобы глаз был вострее, трескать – без этого никак не обойдутся. Я этих людей хорошо знаю. Пока понаблюдаем – вдруг результаты будут выдающимися? Интересно ведь.

– Интересно, товарищ полковник, – согласился Токарев.

Первым на рубеж вышел майор Сугробов, картинно согнул руку в локте и начал стрелять по мишеням. Токарев вооружился биноклем – смотрел на мишень прямо через окно «икаруса».

Сугробов нажал на спусковой крючок пистолета, рука у него подпрыгнула. Петрович оценивающе сощурил глаза – руку майору надо тренировать основательно, рука с зажатым в ней пистолетом должна быть чугунной – не то, чтобы при отдаче не должна подпрыгивать, она не должна даже дрожать.

– Попадание в семерку, – негромко проговорил Токарев.

– Негусто, – прокомментировал Проценко.

– Для этого лоха в майорских погонах – хватит, – сказал Семеркин.

Петраков промолчал.

Раздался новый выстрел. Локоть у Сугробова опять дернулся, рука подпрыгнула. Майор картинно отступил назад и перезарядил пистолет.

– Еще раз семерка, – прежним негромким голосом произнес Токарев.

– М-да, – Проценко удрученно покачал головой. – Плохи дела будут у России, если ее станут защищать такие стрелки...

Петраков снова промолчал, Семеркин приподнял одно плечо, пробормотал негодуя:

– Две семерки – два странных намека на мою фамилию.

Сугробов вновь прицелился. Нажал на спусковой крючок. Мишень от попавшей в нее пули качнулась – была непрочной закреплена, Токарев подкрутил колесики бинокля, наводя окуляры на предельную резкость.

– Семерка! – произнес он.

– Тьфу! – отплюнулся Семеркин.

– Тьфу! – следом за ним отплюнулся Проценко.

Петраков и на этот раз промолчал.

Это Сугробов бьет пока по неподвижным мишеням, а что станет и какие результаты выпадут на долю майора, когда мишени будут выпрыгивать из-под земли всего лишь на несколько мгновений, разворачиваться боком и вновь нырять в преисподнюю – там несколько метров катиться на роликах, затем, приблизившись к срезу бруствера, возникать вновь? Эта программа хоть и усложненная, но для группы Петракова она – обычная.

– Неинтересно все это, – проговорил Проценко. – Бедная наша Родина! Ее так и хотят написать с маленькой буквы.

– Сережа, а ты знаешь, что такое патриотизм по-украински? – спросил Токарев, не отрывая глаз от бинокля.

– Нет.

– Это когда Москва пишется с маленькой буквы, а сало – с большой. Так что нашу Родину кое-кто уже давным-давно пишет с маленькой буквы.

– Это примерно то же, что я сказал.

Сугробов тем временем выстрелил еще несколько раз. Только одно попадание у него было в десятку.

– Неверную поправку на ветер дает, – не удержался от замечания Петрович.

Сугрובה сменил следующий стрелок – плечистый парень с золотистым пушком в подскулях – похоже, школьник из солдат срочной службы. «Срочник» стрелял более уверенно.

– Девятка... восьмерка... девятка, – неспешно считал попадания Токарев.

– Вот ему и надо быть майором, – хмыкнул Проценко.

– Не согласен, – возразил Семеркин, – по результатам он даже на сержанта не тянет.

– Девятка... десятка... восьмерка, – закончил тем временем счет «срочника» Токарев и вновь подкрутил колесики бинокля.

Петраков завалился на заднее сидение «икаруса», закинул руки за голову.

Временами на него накатывало ощущение безысходности, чего-то тяжелого, тоскливого, камнем придавливающего душу, и он не понимал, не мог понять, откуда все это идет, из каких нетей? Он пытался совладать с собою, заставить сердце работать нормально, изгнать из него тоску, освободиться от глухой тяжести, ни с того, ни с сего заползшей ему в душу, но куда там – победы его были короткими: он мог освободиться от тоски на несколько минут, и не больше, потом эта отравляющая вьюна вновь наваливалась на него.

У него возникало чувство, будто он прошел мимо чего-то очень важного, мимо человека, призванного сыграть поворотную роль в его жизни, мимо некоего шаманского камня, который надо было поднять и положить в карман, а он пнул в него ботинком и, даже не оглянувшись, проследовал дальше. А теперь вот расплачивается...

С другой стороны, понятно, в чем его промахи, за что он расплачивается. Ошибка его жизни – Ирина. Сколько было красивых девушек – не сосчитать, выбрать можно было любую, и тогда бы у него была верная царевна Несмеяна, а выбрал он Ирину. Впрочем, тогда, в далекой молодости, она была совсем иной – загадочной, романтической, будто гимназистка, с серыми серьезными глазами и трогательными ямочками, обязательно возникающими на щеках, как только она начинала улыбаться. От той, далекой Ирки Мурашевой не осталось ничего, Ирина Петракова совершенно не похожа на Ирину Мурашеву, это – разные люди.

И откуда только у нежного создания берется расчетливая мужская жестокость, в голосе вместо серебристых колокольчиков звенит танковое железо, в глазах вместо доброжелательности появляется беспощадность? Петраков, размышляя об этом, всякий раз приходил к выводу, что свобода, данная женщине, на пользу обществу не пошла – общество от этого сделалось лишь хлипким и каким-то бесполом. Все растеклось, стало размытым, каркас, на который была натянута шкура, повело в разные стороны, дерево пошло трещинами – женщины, потянув на себя одеяло, не смогли справиться ни с землей, ни с хозяйством, ни со временем, ни с обществом, ни со страной – все у них поплыло... Общество, где заправляют женщины, обречено на гибель.

Так уже было. Был матриархат, только вот ничего путного из этого не получилось, от матриархата остались грустные воспоминания, да пыль веков.

Будущее имеют только те государства, где четко соблюдена «семейная» структура: женщине – женское, мужчине – мужское. Когда же женщина – удав, а мужчина – лягушка, ничего хорошего не жди. Если это происходит в семье – семья разваливается, если происходит в государстве – разваливается государство.

Вот тебе и демократия. Вообще-то, демократия – это порождение адово, а не Божье.

Но причем тут Ирина? Петраков закрыл глаза – об Ирине думать не хотелось.

На огневой рубеж вышел плотный низкорослый капитан с орлиным носом, настолько заросший волосами, что у него брови сомкнулись с прической. Волосатый стрелял хорошо.

– Девятка, – равнодушным тоном незаинтересованного спортивного комментатора сообщил Токарев, – десятка... Снова девятка...

Петрович оказался прав – спортсменам скоро надоела вялая стрельба и результаты, которые могут обрадовать только косоглазого человека и Сугробов объявил «перекур с дремотой» – шумной компанией стрелки уселись под недалеким деревом. Петрович подошел к начальнику стрельбища.

– Мишени свободны, товарищ подполковник, позвольте теперь нам пострелять, – излишне вежливо попросил он.

Подполковник поморщился, словно в рот ему попало что-то горькое, смерил Петровича с головы до ног.

– Во вы у меня уже где сидите! – подполковник попилил себя ладонью по шее.

Петрович на это не сказал ни слова, он был хорошим режиссером, о том, что за группа находится с ним, он не имел права говорить, спектакль же, который собирался сейчас поставить, был заранее обречен на успех.

Подполковник вновь поморщился, потом, поняв, что от Петровича не отделаться, махнул рукой:

– Ладно, вылезайте со своими поварешками на огневой рубеж. Только, едва спортсмены поднимутся, – подполковник с уважением посмотрел на дерево, под которым расположилась громкоголосая компания майора Сугробова, – чтобы и духа вашего не было. Договорились?

– Договорились.

– Мишени я вам менять не буду, все равно не попадете.

– Мы по этим мишеням стрелять не будем, товарищ подполковник.

В глазах начальника стрельбища возникло удивленное выражение. Впрочем, оно тут же исчезло.

– Ваша воля, – сказал он. – Я вам могу даже бомбардировщик из ангара выкатить – очень удобно из мелкашки бить. Не промахнетесь. Можно и в стрельбе камнями потренироваться, – тон подполковника сделался издевательским.

– Спасибо, бомбардировщик пока не надо, – Петрович вежливо, будто великосветский кавалер, ценитель этикета, поклонился и, развернувшись в сторону автобуса, призывно махнул рукой. Группа Петракова выстроилась около «икаруса».

– Ну что, покажем гражданам, как мы умеем орудовать поварешками? – Петрович усмехнулся. – Стрелять будем по двое, поскольку подпол выделил нам лишь «закусочное» время, – подполковника Петрович специально назвал подполом.

– Нам и его хватит, – веселым тоном проговорил Проценко, подцепил ногтем уголок зуба, лихо цыкнул. Ни дать, ни взять – уркаган из старого фильма «Путевка в жизнь».

В группе Петракова Проценко больше всех имел боевых орденов.

– Первый зачет – стрельба из карабина, – объявил Петрович. – Петраков и Проценко – на рубеж!

Офицеры проворно выдернули из «икаруса» карабины, в следующую секунду находились уже около бетонных выступов, врытых в рыжую липкую глину. Петрович кивнул подполковнику, с насмешливым видом наблюдавшему за ними.

– Включите подвижные мишени, товарищ подполковник, – попросил его Петрович, – пусть начинают движение.

Подполковник нажал на кнопку пульта врытого в землю.

– Убыстрите движение, – попросил Петрович.

На лице подполковника вновь возникло удивление, на этот раз оно задержалось подольше, подполковник, поведя пальцем в воздухе, словно бы ища пульт, нажал на вторую кнопку.

– Еще быстрее!

Подполковник нажал на третью кнопку.

– Спасибо, – поблагодарил Петрович, развернулся резко, по-спортивному. – Петраков – первая мишень, бить в низ правого уха, Проценко – вторая мишень, точка поражения – правый глаз.

Подполковник от услышанного даже перекосясь в плечах – опытный человек, он знал, что такое задание можно давать только стрелкам высшего разряда.

Мишень возникла из-под земли стремительно – взметнулась, будто выпущенная пращой, плоская, заваленная назад, выпрямилась и тут же вновь начала быстро заваливаться, уходя в подземные нели, в свое постоянное жилище.

Проценко выстрелил первым, следом за ним, почти в унисон – Петраков. Два хлопка, слитые в один, родили долгий, какой-то объемный звук. Пуля Петракова выколотила в мишени низ уха, только щепки полетели в разные стороны и мишень мигом сделалась полуухой, пуля Проценко превратила правый глаз мишени в дырку.

– Вновь стреляете по одной мишени, – неторопливо подал команду Петрович. – Петраков – в голову, отступя пятнадцать сантиметров от верха мишени, Проценко – в подбородок.

И та и другая цели на мишени не были обозначены, их надо было еще увидеть.

Мишень вновь стремительно, прыжком, похожим на звериный, вымахнула из-под земли, чуть развернулась, становясь «во фронт» и тут же пошла назад, под землю. Два выстрела вновь слились в один. Петрович, наблюдавший за мишенью в бинокль, одобрително цокнул языком – оба стрелка попали в цель. В следующее мгновение мишень завалилась назад и нырнула в преисподнюю.

Петракова словно бы что-то толкнуло в спину, он оглянулся. Подполковник стоял растерянный – такой стрельбы он, похоже, еще не видел, у него даже отвисла потяжелевшая нижняя челюсть, стал виден младенчески розовый язык.

– Сейчас можно стрелнуть по цифровой мишени, – вновь подал команду Петрович, не отрывая глаз от бинокля, – оба бейте в одну мишень.

Цифровое задание – легкое, в два раза легче, чем стрельба в левую мочку уха или в центр правого глаза.

Цифровая мишень поднялась в стороне от «линии поражения», поднялась внезапно, будто призрак, пугающе легкая, почти не приметная. Петраков и Проценко мигом сдвинули стволы в сторону мишени и одновременно нажали на спусковые крючки карабинов.

– Петраков – десятка, Проценко – десятка, – негромко объявил Петрович. Покашлял в кулак. – Зачет принят. – Кашель у Петровича не проходил, он несколько раз пытался выбить его из груди – бесполезно, и Петрович поспешно сунул в рот крепкую дешевую сигарету. Лучшего лекарства от кашля, чем «Прима», он считал, не было. Прикурил и командовал: – Смена составов!

На огневой рубеж встали Семеркин и Токарев.

Начальник стрельбища не выдержал, замахал руками, подзывая к себе спортсменов, отдыхающих под деревом. Те и сами поняли, что происходит нечто необычное, сидели, вытянув по-гусиному шеи.

– Идите сюда! – не выдержав, завопил подполковник в голос. А Петрович тем временем ставил новое задание.

– Начинайте с цифровушки. По одному выстрелу.

Первым выстрелил Токарев, он всегда в такие минуты становился собранным, жестким, все засекал, действовал стремительно, ошибок не допускал... Пуля пробила мишень точно в центре.

– Десятка, – вслух отметил Петрович.

Почти в унисон с Токаревым выстрелил Семеркин. Он многое умел делать изящно, – и делал, – даже стрелял изящно, мягкий вдумчивый человек Витя Семеркин.

– Десятка, – также вслух отметил Петрович. – Следующее задание... Стреляем по силу-эту. Ты, Токарев, бьешь в сердце – двадцать сантиметров ниже плеча в правой половине мишени, Семеркин – в прыжку.

– Не надо в прыжку, не надо в прыжку! – неожиданно закричал начальник стрельбища, замахал руками возбужденно, – он уже понял, с какими «поварами» имеет дело. И как только их не раскусили эти дураки-спортсмены!

Петрович оторвался от бинокля, вопросительно приподнял одну бровь.

– У меня там электрические узлы запряганы, как раз под прыжкой. Не надо стрелять в прыжку!

Уж коли Петрович подал команду, то и отменить ее мог только он. Никто, кроме него, не может отменить, даже министр обороны России. Тем более, он – из другого ведомства. Семеркин ждал. Бровь на лице Петровича опустилась, он вновь прильнул к биноклю: в конце концов подполковника надо было наказать.

Мишень стремительно выметнулась из-под земли.

– Не надо в прыжку, товарищи! – закричал подполковник. – Прощу вас!

Раздались два выстрела, вначале один, потом, почти спаренно, второй. От мишени во все стороны полетели брызги. Начальник стрельбища схватился руками за голову.

– Да меня же главный энергетик сожрет вместе с погонами!

– Не сожрет, – неожиданно жестко проговорил в ответ Петрович. Команду он не отменил специально: пусть подполковнику будет наука.

Следующим было упражнение из любимого Петраковым оружия – из «кольта» сорок пятого калибра.

Почти каждый раз группа, уходя на задание «за заслонку, по ту сторону печи», брала с собою «кольты» – тяжелые, убойные, в руке сидят влитом, приятно держать, «кольты» били не хуже карабинов – и дальность приличная, и точность неплохая, а главное, к «кольту» подходят патроны от английского автомата «томпсон». Автоматы «томпсон», которые Петрович иногда выдавал уходящим на задание спецназовцам, были выпущены давно, имели маркировку 1928 года, но старыми их назвать было нельзя, Петрович выдавал их в смазке, они еще ни разу не побывали в деле.

Петраков вообще подозревал, что автоматы эти были произведены не за кордоном, а у нас, по спецзаказу, где-нибудь в Ижевске или в Туле, на знаменитых оружейных заводах – сделали там партию в пару тысяч стволов и заморозили заказ, поэтому и маркировка на них стоит одинаковая, и год выпуска выбит на металле один и тот же.

Стреляют «томпсоны» не хуже автомата Калашникова – точно, убойно, с малым разбросом, а главное, когда в магазине остается три-четыре патрона, стрелять уже нечем, эти патроны можно выколотнуть из автоматного рожка и загнать в магазин «кольта», а сам автомат выбросить – лишняя тяжесть, железка, ставшая ненужной.

Сколько таких автоматов осталось валяться на боевых тропах, по которым ходил Петров – не сосчитать.

Петрович решил принять зачет по «кольту» на цифровых мишенях. Группа стреляла любо-дорого, никто ниже девятки не опустился.

Стрелки из сборной Московского округа стояли сзади притихшие. Было слышно, как на недалеких деревьях исполошенно кричали вороны – что-то не поделили, да где-то совсем

недалеко, скрытые глиняными взгорбками, гудели танковые моторы – от гуда этого мощного подрагивала не только земля под ногами – дрожал, струился неровно, перемещаясь с места на место воздух.

Блеклое крохотное солнце, будто бы затянутое мутной полиэтиленовой пленкой, выглядывало иногда в межоблачные прорехи и тогда на земле на несколько мгновений делалось светлее, но очередная прореха быстро затягивалась и вновь устанавливался белесый дневной сумрак.

Стрелять было тяжело.

Вслед за «кольтом», – уже традиционно, так было всегда, – шел автомат «томпсон».

Стреляли одиночными.

И бравый подполковник – начальник стрельбища, и стрелки майора Сугробова, надо отдать им должное, не напоминали, что надо освободить место на линии огня, Петрович же, в свою очередь, тоже не задирился, не качал права, он словно бы забыл об этих людях, не обращал на них внимания.

Спецназовцы, для которых люди Сугробова просто перестали существовать, – работали четко, слаженно, красиво. Это были профессионалы, а когда работают профессионалы – видно невооруженным глазом.

Начальник стрельбища, переборов себя, подошел к Петровичу, сказал, тщательно подбирая слова:

– Что же вы не сказали, кто вы такие? Я бы вам все организовал по высшему разряду.

Петрович холодно глянул на него.

– Я к вам подходил, товарищ подполковник, просил уделить внимание... Не получилось. Жаль, что вы этого не помните.

Лицо у начальника стрельбища сделалось виноватым. Раз подполковник испытывает чувство вины – значит, не такой уж он и плохой человек.

Телефонов в сенежских номерах не было, только два автомата внизу, в подъезде, под козырьком.

Вечер выдался черный, промозглый, с глухим ветром и шлепающимися на землю тяжелыми ветками деревьев. Ничего радостного в этой картине, только внутренний неуют, звон в ушах, словно бы от перенапряжения болит голова, да странное тупое онемение в руках, в самих пальцах.

Ветер иногда погромыхивал чем-то в воздухе и тогда казалось, что по крыше дома кто-то ходит. Присутствие неизвестного человека в выгодной точке, откуда хорошо вести обстрел, рождало в душе беспокойство. Когда ветер стихал, неуклюжий злодей, топтавшийся на крыше, замирал, становился слышен шорох капель, срывающихся с деревьев, под этот мирный звук проходило и беспокойство.

– Неуютная у нас все-таки земля, неухоженная, таинственная, – сказал Петраков Семеркину – тот сидел в номере и решал «химические» задачи – продолжал заочные занятия в Менделеевском институте – кусок хлеба, когда Семеркин отпрыгается, отбегается, отстреляется, у него будет... На старости лет, имея на руках диплом инженера-химика, Семеркин будет где-нибудь в лаборатории перебирать пробирки и получать от этого удовольствие.

Озадаченно глянув на командира, Семеркин отложил в сторону тетрадь. Одна бровь у него косо шевельнулась и в насмешливом движении приподнялась, придав лицу Семеркина адское выражение.

– С чего ты взял, что земля у нас неуютная? – спросил он. – Что гложет душу командира?

– Трудно становится жить в России. Иногда в душе возникает невольная досада: и угрозило же здесь родиться! Ну почему мы не родились в Италии или, скажем, в благословенном теплом Марокко? Там никаких проблем с жизнью нет. Соорудил себе набедренную повязку из бананового листа, сел под кокосовую пальму – и жди с преспокойной душой, когда

сверху упадет орех. Никаких забот больше нет, только эта. Если хочешь, чтобы орех сорвался с ветки побыстрее – тряхни пальму. Кр-расота! А что у нас? Ублюдочные митинги, ублюдочное начальство, три десятка воров, беззастенчиво грабящих страну, старухи, выжившие в жестокую войну, восстановившие страну, все вынесшие на себе, и – совершенно нищие ныне, их не в чем даже хоронить. В могилу кладут в полиэтиленовых пакетах... Потомок писателя, у которого в «Правде» в подчинении было всего два человека и то он не всегда с ними справлялся, – взялся рулить экономикой огромной страны и ободрал всех, как липку, зато у самого физиономия уже не вмещается в экран телевизора – уши вылезают наружу из коробки – тьфу!

– Я года три назад в семейный дом отдыха попал, так наблюдал там любопытную картинку. Телевизоров в номерах там не было – стоял только один большой старый ящик в холле. Женщины любили выходить в холл после обеда, чтобы пообщаться друг с другом, на экран поглядеть. А глядеть-то, оказывается, не на что, какую кнопку ни нажмешь – обязательно увидишь Гайдара. Всюду был Гайдар, сладко чмокал на всех программах сразу. Нажимаешь на одну кнопку – там идет передача «Как варить огурцы». Выступает, естественно, Гайдар. На другом канале – «Как красть коней» – снова сладко чмокает Гайдар... Недаром его прозвали «сладко чмокающим». На третьей программе – «Как рыбьей костью пришить пуговицу к рубашке» – и тут выступает Гайдар. На четвертом канале, на пятом, седьмом, девятом – Гайдар, Гайдар, Гайдар, Гайдар. Всюду Гайдар. Бабы ругаются, а ничего поделать не могут: телевизор сильнее их. И главное – Гайдар все время чмокает, будто рыбьей костью пуговицы к рубашке пришивает.

Петраков не выдержал, рассмеялся – Семеркин рассказывал забавно, он умел не только серединки из старых горбачевских сторублевок выковыривать – умел по-актерски вкусно рассказывать.

– А потом женщины сориентировались, нашли способ веселиться. Выходят в холл, рассаживаются, включают телевизор... Там, естественно, уже сидит Гайдар. Рассказывает, как молотком чинить будильники. Вдруг одна из них – чмок губами, – Семеркин очень звучно, совершенно по-гайдаровски чмокнул воздух, – Гайдар в ответ с экрана – чмок! Через минуту вторая – чмок губами! Гайдар в ответ с экрана снова чмок! Хохот стоит такой, что в окнах из рам вылетают стекла. Иногда даже сами рамы выворачивает.

– М-да, Егор Тимурович был большим мастером по части посмешить народ. Он вообще так кое-кого насмешил, что у этих людей слезы на лицах десятилетиями просыхать не будут.

– Таких людей, командир, к сожалению, много, – разом погрузнев и потеряв веселую лихость, проговорил Семеркин.

Петраков отвернул рукав куртки, посмотрел на часы.

– Чего, командир, ждешь кого-нибудь?

– Жду.

– Кого?

– Узнаешь.

Через две минуты открылась дверь семеркинского номера, на пороге появился Петрович, молча подмигнул Семеркину и вытащил из-за спины бутылку шампанского. Произнес коротко:

– Только что из морозилки.

С бутылки густыми искрящимися лохмами свисала снежная махра.

– Ба-ба-ба! – не замедлил вскричать Семеркин. – Это что же такое делается в бывшей Советской Армии! Пьянка на сборах! Да за это же генералы лишались лаковых сапог!

– Это еще не все, – объявил Петрович.

Снова открылась дверь. На пороге номера стояли Проценко и Токарев. Оба с подносами. На одном подносе была нарезана по-мужски крупными кусками, «неэкономно», колбаса нескольких сортов, на тарелке лежала рыба – лосось, вытасненный из жесткой прозрачной упаковки, с вдавненными следами от твердой оболочки и прозрачная синеватая осетрина, эту рыбу

купили в коммерческом киоске, потому она и выглядела так неаппетитно, тут же горкой был навален хлеб, на втором подносе грудились овощи. Много овощей: помидоры, огурцы, свежая, явно реквизированная на чужом огороде редиска, нежная, маленькая, с аппетитными капельками воды, застывшими на яркой малиновой коже, сладкий болгарский перец – желтые, светящиеся, будто внутри каждого плода было вставлено по электрической лампочке. У Проценко была еще одна бутылка шампанского.

– Ба-ба-ба! – вновь воскликнул Семеркин.

– Не бабакай, не то дырки в карманах образуются, – сказал ему Петрович. – Пообедаем у тебя в номере.

– С чего такая честь?

– Сейчас узнаешь, – Петрович обвел рукою комнату, призывая своих подопечных сесть. – Хотя и не мой это номер, но не стесняйтесь, почувствуйте себя как дома, – сказал он.

– Располагайтесь, располагайтесь, – запоздало пригласил Семеркин, – не в столовую же пришли!

– Петраков, распечатывай шампанское! – приказал Петрович.

– Есть!

Шампанское было хорошим, едва Петраков выдернул пробку – настоящую, «пробковую», а не отлитую из белой пластмассы, – как в комнате запахло югом, виноградом, солнцем, еще чем-то вкусным, оставшимся ныне в прошлом.

– Разливай! – скомандовал Петрович. – Покопавшись в кармане куртки, он достал новенькие майорские погоны – два просвета, одна звездочка, – поплевал на них и приложил один погон к одному плечу Семеркина, второй – к другому. Протянул руку: – Поздравляю тебя, Витя, с досрочным присвоением звания майора.

Проценко и Токарев напряглись – на щеках даже красные пятна выступили, – и дружно гаркнули:

– Ура! Ура! Ура-а-а!

Это была приятная новость – Виктор Семеркин давно уже созрел для звездочек старшего офицера и, хотя звание майора ему должны были присвоить лишь в будущем году, начальство, что называется, заметило его. Надо полагать, не без «участия» Петровича.

– А Петровичу – гип-гип ура! – сказал Петраков.

– Я-то тут при чем?

– Началнык! – на среднеазиатский лад проговорил Петраков. – А началнык, он за все на свете отвечает.

– Командир, наливаем по второй, – предложил Токарев, – приказывай! Будем пить за господина полковника.

– За товарища полковника, – поправил Семеркин, – в армии товарищей никто не отмечал.

– Мы не армия, мы – пограничники.

– Все равно. Погоны носим? Носим. Значит, армия.

Петрович не удержался, потряс головой, потом сгибом указательного пальца стер небольшие слезки, выступившие в уголках глаз.

– За меня, так за меня, – сказал он. – Я не против. А потом, чем тебе, Токарев, не нравится слово «товарищ»? Очень хорошее, очень душевное, теплое, емкое слово. Надежное. От него на душе светлее делается. И очень сытое, холодное слово – «господин». Немытой морковкой пахнет от этого словца. И куском сала с плохо опаленной щетиной. Я пью за слово «товарищ».

– Нельзя, товарищ полковник, – возразил Петраков, – вы не имеете права слова – за вас тостуют... Когда выпьем, тогда и слово получите.

– Во дисциплинка! – Петрович вновь покрутил головой. – Как в царское время, до реформ Александра Второго. Палочная!

За черным окном взвыл ветер, по стеклу с грохотом прошла струя холодных брызг, сорвавшихся с дерева, потом стебанула гибкая, как плеть ветка и сделалось тихо.

– Милиционер родился, – усмехнулся Петрович.

– Милиционер умер, – возразил майор Семеркин, добавил, подумав о чем-то своем: – Осень. – По лицу его проскользила нервная тень, глаза посветлели, сделались чужими, незнакомыми, он осушил стакан с шампанским, хотел было хлестануть его об пол, но Петрович остановил его:

– Не надо. Иначе панове спортсмены нарисуют на нас телегу.

– Верно. Телега нам не нужна.

– Есть старая примета: если вдруг все разом замолкает – значит, ангел пролетел. А раз пролетел ангел – значит, милиционер родился.

– В Липецкой области считают – не милиционер, а налоговый инспектор, а в Белоруссии – торговый работник.

– Что в лоб, что по лбу, – Петрович махнул рукой, – все приварок в наших вымирающих государствах...

Через двадцать минут Петраков спустился вниз, к телефону-автомату. Дежурный – капитан в пятнистой форме, в круглых «дореволюционных» очках дремал за школьным облупленным столом, испятнанным чернилами, сплошь в порезах и рисунках. Услышав шаги, он открыл глаза, проводил Петракова невидящим взглядом и снова закрыл глаза.

Петраков набрал номер своего домашнего телефона. Ирина была дома, произнесла приветливо «Алло», но едва услышала голос мужа, как в тоне у нее появились холодные, совсем чужие нотки, некая сварливая трескучность, у Петракова от этой трескучности невольно сдавило скулы, он втянул в себя воздух, словно бы хотел что-то остудить внутри и проговорил спокойно:

– Звоню без всяких дел...

– Я чувствую, – раздраженно перебила его жена, в голосе ее что-то напряглось.

– Просто хочу узнать, как там ты, как Наташа?

– Нормально.

Хорошо, очень хорошо бывает человеку – мужику, солдату, забубенной голове, не жалеющей себя, когда прикрыт тыл, но бывает ему совсем плохо, если в тылу раздается такой вот раздраженный сварливый голос, тогда кругом – оборона, кругом фронт и человек ощущает себя обычной былкой, сопротивляющейся железному ветру.

Плохо такому человеку. Плохо, неуютно сделалось и Петракову, но он вида не подал, голос его как был заботливым, так заботливым и остался.

– Продукты, деньги есть?

– Есть. Ты же оставил. А раз оставил, то чего спрашиваешь?

«Ну хотя бы спасибо сказала, хотя бы одно-два живых словечка произнесла – нет, вместо живых слов звучит что-то деревянное, негнущееся, лишенное тепла...» Петракову сделалось обидно.

– Наташа уже спит?

– Спит.

Разговора не получилось.

Утром, после пробежки по засыпанным палой листвой аллеям Сенежского городка Токарев попросился у Петровича в Москву. Петрович задумчиво поскрёб пальцами щеку:

– А чего так приспичило?

– Дак, – Токарев споткнулся на полуслове, щеки его ярко полыхнули, он отвел взгляд в сторону.

Петрович все понял, кашлянул.

– Ты же знаешь, этого делать нельзя. Ты же – в группе. В группе! – Петрович поднял указательный палец, рыжевато-коричневый от курева, никотин впитался в кожу мертво, это

несмысла, с этой рыжиной Петрович уже уйдет в могилу. Досадливо побрякав в кулак, Петрович вновь повторил: – В группе! – По характеру он был такой, что боялся обидеть человека. Не хотелось ему сейчас обижать и Токарева, но ничего поделать Петрович не мог, служба была превыше всего. – Поэтому, – Петрович красноречиво развел руки в стороны. – Извини!

Токарев вздохнул:

– Жалко!

– Вот если бы у тебя была тревожная телеграмма, заболел кто-то, не приведи Господь, – тогда бы я тебе отказать не смог...

– Да у меня нечто подобное...

– Что именно?

– Заявление в загс надо подать, женюсь.

– М-да, это почище еврейского погрома в городе Одессе в девятьсот четвертом году, – Петрович крикнул. – Все хорошенько взвесил, Токарев?

– Да вроде бы все.

– Вроде бы или хорошенько?

– Все хорошенько, в этом плане все тип-топ!

– И кто счастливая избранница?

– Хорошая девушка. В банке работает.

– Высоко берешь, – Петрович огорченно мотнул седой головой. – Все равно не могу отпустить тебя, не имею права. – Вздохнул, сделал это точно так же, как Токарев несколько минут назад, – не имею права. Прошу в автобус, – произнес он поскуцневшим тоном.

На этот раз выступали на полигоне для гранатометания. Встретил автобус плотный низкорослый подполковник в сапогах, собранных в гармошку – они никак не налезали у него на толстые мясистые икры, для этого в задний шов надо было вставить кожаный клин, но если в шов вставить клин, то вся красота сапог будет безнадежно испорчена. Поэтому подполковник и собирал сапоги в гармошку. Окинув спецназовцев хмурым взглядом, он приказал построиться.

Группа построилась. Петрович из «икаруса» не вышел, остался в автобусе – вольно расположился на сидении и поглядывал теперь хитро из окна, попыхивал скулодерной сигареткой, ожидая, что будет делать подполковник. А подполковник неспешно прошелся вдоль строя, похрюкал в кулак, прочищая себе горло, и произнес будничным тоном:

– Сегодня я познакомлю вас с принципами действия наступательной гранаты РГД. Гранаты Ф-1 и Ф-2 – оборонительные, у них большой рассев осколков, при взрыве могут поразить наступающего бойца, а РГД – граната наступательная...

«Господи, и этот туда же, – спокойно, ничуть не раздражаясь на подполковника, подумал Петраков, – ну хотя бы кто-нибудь намекнул этому дураку, что мы это уже проходили. Проходи-ли». Он оглянулся на автобус, на Петровича. Петрович продолжал с невозмутимым видом попыхивать в автобусе сигаретой.

А подполковник пошире развернул грудь, чтобы была видна орденская планка, украшающая его полевую тужурку. Первой в планке стояла голубая, с белыми прожилками колодочка ордена «За заслуги в Вооруженных Силах» третьей степени. Заслуженный был человек этот подполковник.

Минут тридцать он сотрясал воздух, мусолил тему, рассказывая, что такое граната РГД, не подозревая, что каждый из стоявших перед ним людей перешвырял уже столько гранат в своей жизни, сколько их вообще находится на складах курсов «Выстрел».

Наконец подполковник объявил нудным голосом:

– А сейчас приступаем к практическому выполнению задания, к бросанию гранаты РГД.

Он так и сказал: «К бросанию гранаты РГД». Ну просто Владимир Даль, автор словаря русского языка, а не армейский подполковник. Петраков вновь оглянулся на автобус: хотя бы

Петрович выручил. Петрович, прикончив несколько сигарет подряд и заглушив жажду, достал свежий номер газеты «Красная Звезда», углубился в него.

Подполковник подвел четверку спецназовцев к высокому, по пояс, барьеру, похлопал по серой выщербленной ребровине барьера ладонью, произнес внушительно:

– Барьер создан для того, чтобы осколки не поразили вас, когда будете метать гранату.

Лицо подполковника, розовое, плотное, хорошо высокобленное, излучало умиротворение, спокойствие и некую благостность, присущую «новым русским» – ну будто бы он приобрел в магазине недорогую прочную булавку, которой можно застегивать карман, туго набитый деньгами – «зеленью», популярной американской валютой, напрочь вытеснившей из России родимые «деревянные».

– Бросать гранату будете в яму, – подполковник потыкал рукою в пространство. – Вон туда... Видите яму?

Метрах в двадцати от бетонного барьера в земле была вырыта широкая яма. Промаяхнуться, не попасть в нее было невозможно. Хотя народ бывал у подполковника всякий – земля вокруг ямы была рябой от мелких воронок.

Спецназовцы молчали.

– Видите яму? – повторил вопрос подполковник.

Не увидеть эту силосную траншею мог только слепой.

– Товарищ подполковник, я этой ямы не вижу, – неожиданно послышался голос Проценко.

Подполковник был мужественным человеком, он ко всяким вопросам привык, проглотил и этот вопрос, похрюкал в кулак и повернулся к Проценко. Вновь похрюкал в кулак – хрюканье на этот раз было смущенным.

– Извините, – пробормотал подполковник.

Перед ним стоял здоровенный амбал с широким тупым лицом и косыми, сведенными к самой переносице глазами.

– Извините, – еще раз смущенно пробормотал подполковник, – сейчас я покажу яму. – Предупредил: – Предохранительные кольца, когда выдернете чеку и произведете бросание гранаты, – опять «бросание гранаты» – вы должны будете сдать мне. Лично в руки. Для отчета. Понятно?

Он обошел барьер сбоку и неспешно двинулся к яме, – специально показывать для косых, где она находится. Не то швырнет этот циклоп гранату себе под ноги, либо того хуже – под ноги подполковнику, старшему офицеру. И набирают же в армию каких-то недоделков! Он удрученно покрутил головой.

Проценко не сдержался, хмыкнул:

– А ведь действительно для меня, несообразительного, увечного, собирается показать, где находится яма.

– Собирается, – подтвердил Токарев.

Подполковник красноречиво потыкал рукой в сторону ямы, что-то произнес, но слова его не дошли до группы – они унеслись в горбатое, покрытое чахлым желтеющим березняком поле – ветер дул в ту сторону.

– Фокус природы, – сказал Петраков, – мы подполковника не слышим совсем, он же нас слышит, будто мы пьем водку у его ног.

– Это и хорошо, – Проценко рассмеялся, – надоела мне эта учеба! – Редкостная способность придавать своему лицу дурацкое косоглазое выражение не подвела Проценко и в этот раз. Он вздохнул, подкинул гранату в руке, потом подцепил пальцем предохранительное кольцо и резко дернул его.

Раздался громкий щелчок. Не услышать его было нельзя. И подполковник его услышал, ветер буквально вдул целиком ему в уши, – стремительно развернулся на одной ноге.

Следом раздались еще три громких щелчка – щеки одним слаженным движением, друг за другом, выдернули Петраков, Семеркин и Токарев.

– Подпол, беги! – предупреждающе выкрикнул Проценко.

Подпрыгнув легко и прыжком этим словно бы сбросив годы и вес, подполковник резво понесся к бетонному барьеру.

В яму тем временем, кучно, стучаясь друг о друга, шлепнулись четыре гранаты.

Подполковник перелетел через бетонную заплотку, коlobком покатился по земле. Грохнул один взрыв, за ним – еще один, строченный, сильный. Земля дрогнула под ногами спецназовцев.

Проценко попытался лихо щелкнуть подошвами кроссовок, звук получился резиновый, мокрый, задавленный, но это капитана не смутило и он, вновь сведя к носу глаза, разом превращаясь в деревенского дурачка, протянул подполковнику чеку:

– Вот, вы колечко просили сдать.

Следом протянули свои «колечки» еще трое спецназовцев.

Подполковник сидел на земле и ошалело крутил головой. Петраков глянул на «икарус» – как там начальство, не вздумает ли намылить им шеи? Петрович, прикрывшись развернутой «Красной Звездой», уютно дремал на сидении. На происходящее он не обращал никакого внимания. Гранатометание – не стрельба, это не по его части.

Темное недоброе небо неожиданно раздвинулось, в задымленный прогал между облаками заглянуло солнце, посмотрело сверху вниз – белесое, холодное, чужое, в следующий миг передвинулось малость по небу и скрылось за плотной ватной стенкой наволочи. По земле проворно побежала печальная светлая тень, нырнула в лесок, призрачно осветила стволы деревьев, растворилась в ущербной редине – недолго смотрело солнце на людей, недолго бежала по земле светлая тень, веселя души, а и этой малой малости хватило чтобы обстановка разрядилась, сделалось теплее и легче. Подполковник перестал крутить головой, поднялся с земли, сунул руку Проценко:

– Держи, кривоглазый! Проучил меня на пять с плюсом.

Проценко с чувством пожал руку подполковника.

– Держи! – подполковник подал руку Петракову. – Не будем дуться друг на друга.

Нормальный мужик оказался подполковник, без комплексов и злобы, все понимающий – понял, кто такие эти люди, решил все свести к шутке... Пожал руки Семеркину и Токареву. Разошлись, не имея друг к другу никаких претензий. Будто опытные дипломаты, у которых над головой никогда не сгущаются тучи и они не знают слова «нет».

Около телефона-автомата было пусто. Петраков подошел к нему, взялся за трубку, увидел свою руку со стороны – жилистую смуглую, в белой сечке старых порезов, неожиданно ставшую нерешительной – ни он себя сам, ни товарищи никогда не видели его нерешительным, и это вызвало у Петракова чувство некой странной жалости к самому себе... Но то было дело, война, ситуации, когда выигрывал тот, кто на несколько мгновений раньше нажимал на спусковой крючок, там даже воздух был другой, а здесь – мир, здесь если и идет война, то только под ковром, ведут ее, как правило, неприличные человеки с человеками еще более неприличными... Всякий солдат чувствует себя на такой войне чужим.

Поэтому и теряются разные увешанные орденами люди среди множества ООО, АО, ИЧП, ООП и прочих контор и конторок, которых расплодилось на усталой земле видимо-невидимо, хоть косою коси. И дома солдаты теряются. Они умеют воевать там, где «или грудь в крестах, или голова в кустах», и совсем не умеют воевать здесь, в мире свар, подсиживаний, интриг.

Петракову казалось, что иногда он совсем не понимает Ирину, словно бы они живут в разных измерениях, она в одном, он в другом, каком-то марсианском, либо того хуже – в ушедшем времени, он не может вызвать у нее ответного взгляда, исполненного теплоты, заботы, не

может вызвать ответного нежного жеста, иногда даже простую улыбку, и ту не может вызвать, вот ведь как – лицо Иркино всякий раз, когда она видит мужа, делается деревянным.

Как-то раз, находясь в церкви, Петраков увидел необычную икону, на которой в золотом сиянии была изображена Божья Мать с воткнутыми в нее стрелами. Он стоял и не мог понять: как это так, в живое тело Божьей Матери воткнуты стрелы! Кто это сделал?

Старушка в черном сатиновом платке, повязанном низко, по самые брови, заметив, что посетитель очень уж заинтересовался необычным изображением, пояснила:

– Самая нужная в доме икона. Называется «Семистрельная».

– От чего она?

– Не от чего, а для чего. Чтобы молиться. Икона эта приносит мир в дом. Если жена и муж ругаются – перестают ругаться.

– Когда ругаются муж и жена – это самое последнее дело, – неожиданно произнес Петраков.

Старушка внимательно посмотрела на него.

– А вам, молодой человек, эта икона в доме просто необходима.

В церковном ларьке продавали «Семистрельную» трех размеров, Петраков мог купить большую икону, но побоялся – вдруг Ирка взбрыкнет и выметет ее из дома вместе с какими-нибудь ненужными вещами, а это – грех великий, купил «Семистрельную» среднего размера, принес домой, поставил на книжную полку, внутрь, под стекло и, поскольку не знал молитв, смотрел на нее порою немо, как-то заискивающе, и шептал про себя полубесвязные, сдобренные горячим дыханием слова: ему очень хотелось, чтобы в доме наступил мир.

Увидев икону на книжной полке, Ирина сделала желчное лицо, губы у нее, неожиданно ставшие тонкими, злыми, растянулись недобро, она покачала головой, но ничего не сказала мужу. «Хорошо, хоть икону не замела», – невольно подумал Петраков и неловко, косо, какими-то судорожными движениями перекрестился.

Он подержал телефонную трубку в руке и повесил ее обратно на рычаг. Мимо него, пересякая сразу через три ступеньки, пронесся Токарев.

– Ты куда? Голову не сломай!

Токарев приложил к губам палец.

– То-с, командир! Петровичу ни гу-гу, пожалуйста.

В следующую секунду он проворно скатился вниз и скрылся в темноте асфальтовой дорожки. Петраков тоже спустился вниз, постоял немного, глядя на низкие плотные облака – тяжелые, набухшие водой, они ползли с трудом, цеплялись за макушки деревьев и давили, так давили, что нечем было дышать, что-то невидимое, цепкое стискивало горло, Петраков поднял воротник куртки и двинулся по асфальтовой дорожке прочь от здания – надо было собраться с мыслями, найти единственные, очень верные, очень убедительные, очень нежные слова, а потом позвонить Ирине.

Из темноты на него пахнуло духом лежалых листьев, яблок, осеннего сада, обкуренного дымом, чтобы в деревьях не заводилась тля, земли, которую начал перелопачивать трудяга-огородник, солений и живой воды.

В Сенеже вода живая, тут водится разная рыба, иногда жирные полуторакилограммовые караси, будто лапти, вымахивают из воды и гулко шлепаются обратно, – и дух у такой воды особый. Живой дух. Он лишен запаха тины, прели, ила, набитого всякой дрянью, это – чистый дух. И рыба в такой воде водится чистая.

С дерева, вспугнутая его шагами, сорвалась ворона, крикнула сердито и тяжело, скрипуче, будто вконец измученная, добитая лютым ревматизмом, перелетела на соседнее дерево, неуклюже ткнулась лапами в ветку. Ветка под тяжестью вороны гулко хрустнула.

Ворона заорала возмущенно – это что же такое делается! Совсем обнаглели двуногие – честным птицам спать мешают. Это во-первых. А во-вторых, хотя бы фонарей побольше

понавесили, иначе ведь о сук и глаза можно выколоть, и в третьих, ну что стоило этому жлобу, что шатается в темноте, дерево подремонтировать, вбил бы в ветку гвоздь, укрепил бы ее – не сломалась бы она под вороньим телом... Нет, ленивый ныне пошел народ, раньше он был более работающим. Петраков не выдержал, рассмеялся – он словно бы наяву услышал вороньи стенания, увидел себя ее глазами, и ему сделалось легче.

В конце концов, верно говорят – браки заключаются на небесах, Бог выделил ему эту жену, другой нету, значит, надо терпеть и нести свой крест без ропота. Жаль только, что крест этот такой тяжелый: его не только на спине не унесешь – даже на грузовике не увезешь.

Денег на Сенежских курсах не было, местные хозяйственники сэкономили на всем, и прежде всего на лампочках: электроэнергия стала дорогой, да и сами лампочки тоже подорожали. Раньше их звали лампочками Ильича, а теперь как зовут?

Вопрос есть. Ответа нет.

По макушкам деревьев пронесся ветер, сшиб несколько веток, нырнул вниз, выдул из души легкое тепло. Только что было оно в Петракове, грело его, а теперь тепла не стало. Он подергал пальцами воротник, стараясь поднять его, но воротник был короткий, больше не понимался. Петраков по-мальчишески простудно шмыгнул носом, подумал: а ведь темный промозглый вечер этот будет сниться ему где-нибудь в теплом краю. Это ведь типично русская осень, промозглая, некрасивая, с соплями и чихом, но так иногда тянет очутиться в ней, что хоть зубами руку себе прикусывай. Выть хочется. Но впиваться зубами себе в руку можно, а выть нельзя.

Освещена асфальтовая дорожка была слабо, лампочки качались на столбах лишь около жилых корпусов, дальше было темно. Неожиданно Петраков увидел Токарева. Тот стоял у железной ограды, за которой начиналась «вольная» территория – там был расположен обычный гражданский поселок. По другую сторону от Токарева, за решеткой, находилась тоненькая девушка в белом берете, около нее стояла машина с работающим мотором – красные «жигули», у «жигулей» были включены подфарники, и девушка была хорошо видна.

Токарев подбито горбился по эту сторону ограды и молча смотрел на девушку, та также молча смотрела на Токарева. Было сокрыто в этой сцене что-то колдовское, жутковатое и одновременно прекрасное. Петраков отвел глаза в сторону: у этой сцены свидетелей быть не должно. И вообще – подсматривать за людьми неприлично, эту истину раньше втемяшивали в головы вместе с кодексом поведения пионера, еще в школе, сейчас же в классах, за партами, вдувают в головы совсем другие истины.

Резко развернувшись, Петраков по мокрой жесткой траве пошел в сторону, в темноте споткнулся о какую-то осклизлую деревяшку, хотел было выругаться, но не выругался. Наука сдерживаться сидела в нем прочно, проникла в кровь, стала частью его самого, его характера. Даже когда ему хотелось выть от боли и тоски, он не выл – все оседало у него внутри.

Вот жизнь!

Что-то дрогнуло в Петракове, сместилось, к горлу неожиданно подкатила обида – человеку в его положении, с его профессией, скажем так, – беспокойной, очень важно, чтобы у него был прикрыт тыл, чтобы он был уверен – в любую минуту можно нырнуть туда, затихнуть, отлежаться, зализать раны, хорошенько выпасться, а потом выпрыгнуть наружу вновь, – у Петракова же этого не было.

Иногда он замирал в некоем странном оцепенении – это происходило от усталости. Ему отказывалось подчиняться тело, а раз это происходило, то, значит, где-то совсем рядом должен быть предел, после которого человек начинает ломаться.

Ноги сами вывели его на очередную твердую тропку, под ботинками тихо, словно бы подошвы скребнули по наждачной пленке, шаркнул асфальт, ноги понесли его дальше по твердой тропке; иногда он оступался, сваливался на закраину, но в следующее мгновение снова

оказывался на тропке. Он шел по ней наугад, почти ничего не видя в темноте. И почти не сбивался.

Собственно, как и в жизни.

Минут через двадцать он вернулся в жилой корпус. Внизу стоял Токарев с расстроенным лицом.

– Я тебя видел, – сказал ему Петраков.

– Я тебя тоже видел, командир.

– У тебя – хорошая девушка.

– Я тоже так считаю, – Токарев тихо улыбнулся, лицо у него сделалось еще более расстроенным. – И какой дурак выдумал для нас такие немыслимые правила поведения: во время сборов не встречаться с женщинами? Мы же не на передовой.

– Похоже, там считают, – Петраков потыкал пальцем в потолок, что здесь эти правила важнее, чем на передовой.

– Вот так и теряются личности. В толпе прочих лиц.

– Все правильно. Плыдем, плывем, думаем, что окажемся в прекрасном будущем, а оказываемся в гнусной, пахнущей мочой старости. Счастье, Игорь... Оно улыбнется тебе обязательно.

– Пусть улыбнется, – Токарев неожиданно усмехнулся, уголки губ у него приподнялись, подбородок утяжелился, – лишь бы оно над нами не смеялось.

Петраков двинулся было по лестнице вверх, но остановился в нерешительности: позвонить жене или нет? Позвонить или не позвонить? Махнул рукой и двинулся дальше.

Конечно, он спасовал, испугался этого звонка – не хотелось ему, чтобы Ирина испортила настроение – и без того еле-еле удалось его выровнять, а жена малым словесным охлестом, двумя-тремя резкими фразами запросто может загнать в некую холодную мусть, совершенно не способствующую рождению в теле здорового духа...

Он поймал себя на том, что боится. А ведь его люди считали своего командира бесстрашным человеком, и в этом не было ни капли неправды...

Во всяких сборах полно изъянов – все-таки они не напрасно называются сборами, когда можно вспомнить, чего ты забыл дома, это действительно сбор, место встречи с незнакомыми людьми – то одного увидишь, то другому удивись.

Начфизом – начальником по физической подготовке – на курсах оказался бравый старший лейтенант с каменным лицом и серебряным квадратиком на лацкане – значком мастера спорта, что, как известно, всегда было сложно заслужить.

Бедняга, ничего не подозревая, подозвал к себе двухметрового Проценко.

– Сейчас я вам покажу, как должен выполняться прием по захвату противника, – он окинул быстрым взглядом Проценко, привычно ухватил его рукою за запястье и в следующее мгновение колобком закувыркался по двум матам, сшитым из мягкого кожзаменителя и соединенным вместе, обрывая по дороге пуговицы и сдирая звездочки с погон.

Даже значок, и тот остался лежать на кожзаменителе. Проценко помог старшему лейтенанту подняться, выхватил из-под ноги серебряный квадратик, обдул его:

– Ты по какому виду мастер спорта, а, старлей?

– По плаванию, – с трудом выговорил начфиз, губы у него дрожали.

– Ну тогда давай, показывай очередной прием.

Проценко медленно, словно бы с трудом преодолевая пространство, вытянул перед собой изогнутую под углом руку, с пальцами, изогнутыми так, словно он хотел попасть сразу в пять глаз, вторую руку чуть оттянул назад.

Старший лейтенант опасливо отшатнулся от Проценко, помотал головой.

– Ну давай, давай, старлей! – подбодрил его Проценко, поманил к себе искривленным пальцем. – Ну!

Старший лейтенант вновь отрицательно помотал головой.

– Нет!

Проценко не удержался от разочарованного вздоха:

– Жаль, товарищ начфиз!

Экзамен на сборах прошли все – Петрович всей четверке выставил удовлетворительную оценку. Градаций в оценках здесь, как в школе, не существовало – только «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно» – ни «отлично», ни «очень плохо», ни пятерок с единицами тут нет. Того, что есть – достаточно.

Приняв экзамен, Петрович пошел в кабинет начальника курсов, на аппарат «ВЧ», стоявший там еще со времен генерала Драгунского, командовавшего когда-то «Выстрелом» – старый, с гербом Советского Союза на диске – докладывать, что группа Петракова к выброске готова.

Петраков всегда подозревал, что у начальства всегда есть готовая группа под ружьем – ведь ЧП может случиться в любую минуту, где угодно может потребоваться силовое вмешательство, – значит, в любую минуту должна быть под рукой группа, готовая подняться в воздух.

Надо полагать, что параллельно с Петраковым и его людьми тренировалось не менее трех групп. Одна, допустим, – на курсах «Выстрел», другая – в Голицыно, на полигонах пограничного института, третья – в бывшем Бабушкино... Есть и другие места для тренировок. Петраков побывал почти на всех. И то, что их футболият с базы на базу – сегодня тренировки идут на одной, через два с половиной месяца, на очередных сборах – на другой базе, лишний раз подтверждает, что начальство готовит к «бою» сразу несколько групп.

А там – кому что выпадет.

Вернулся Петрович из кабинета начальника курсов довольный, стукнул ладонью о ладонь, словно бы стряхивая с них пыльную налипль, достал из кармана мятую пачку, из нее – початый, с придавленным краем окурков, поджег его с одной спички. Группа молча смотрела на полковника. Петрович затаился глубоко и сильно, дым прочистил ему нутро до самых легких, обволок приятной горечью, лицо Петровича обрело умиротворенное выражение и он, затаившись еще раз, объявил:

– Завтра, в девять ноль-ноль – выезжаем.

С каждым произнесенным словом из Петровича, будто из дырявого паровоза, выбивало дым, хорошо, что еще пламени не было, иначе бы этот Змей Горыныч мог опалить ребят.

– Все ясно?

– Никак нет. Не все, товарищ полковник, – пробасил Проценко, который любил ясность, разжеванность во всем. – Куда летим?

– Прилетим – узнаете, – односложно ответил Петрович.

– Но все-таки, надеюсь, не на южный берег Северного Ледовитого океана.

– Если полетим на южный берег Северного Ледовитого океана – вам выдадут соответствующую одежду, – невозмутимо произнес Петрович, – стеганые штаны и куртку на гагачьем пуху.

– Ага, а еще – меховые плавки и бюстгальтер с подбоям из верблюжьего поролон. Чтобы спалось лучше.

– Не грубите, Проценко!

Петровича было трудно чем либо прошибить, – он еще несколько раз затаился своим растаявшим на глазах бычком и с сожалением отщелкнул окурков в форточку. Проценко пристынулся:

– Однако!

До форточки было метров шесть, не меньше, в щель на которую она была приоткрыта, едва пролезал спичечный коробок, но окурков точно попал в щель и выскочил наружу.

– А потом дневальный с метлой сделает кому-нибудь из нас замечание, – глядя в сторону, брюзгливо произнес Токарев.

– Не успеет, мы к этому моменту будем уже далеко, – сказал Петраков.

– Гляди, командир, ты за все в ответе, – не меняя тона, заметил Токарев.

Ах, ребята, ребята... Нет, наверное, такого пера и такого таланта, которые могли бы описать чувство, связывающее этих людей. И нет такой разрушительной силы, такого огня, такого свинца, таких бронебойных пуль, которые могли бы разрушить эту связку. А впрочем, талантливые перья, может быть, и есть, Петраков за ними не следит – он живет совсем в иных измерениях и к вымыслу, запоминающимся образам и красивым словам те измерения никакого отношения не имеют. А талантливые люди наверняка есть. Они всюду есть...

– Так что, собирайтесь, мужики, – сказал Петрович на прощание и закрыл за собою дверь.

– Однако, – произнес Проценко с усмешкой, – однако мы совсем не узнали, почему у электрика Попова вместо шарфа на шее завязан провод...

Петраков спустился вниз, к телефону-автомату. В Москве к таким аппаратам уже без специальной пластиковой карточки не подойти, а тут аппарат работает по старинке, даже никелированный ограничитель с прорезью для пятнадцатикопеечных монет, старый, времен царя Гороха, – имеет. Похоже, до сих пор можно пользоваться пятнадцатикопеечными монетами.

Набрал номер своей квартиры. Засек, что у него немедленно начала подергиваться рука, а пальцы, сжимавшие телефонную трубку, сделались стальными. Нервы, это все нервное – и добром это не кончится. Но не звонить также было нельзя – не может же он быть человеком без дома.

Наконец Ирина подошла к телефону, трескучий, словно бы наполненный горящим порохом воздух колыхнулся, послышалось жесткое, словно бы отлитое из железа:

– Да!

– Я завтра улетаю, – сообщил жене Петраков.

– Да? – удивилась Ирина. Удивление ее было вялым. – Я думала, что ты давно улетел. Счастливо!

– Больше ничего не можешь мне сказать?

– А что я тебе должна сказать? – удивление в железном голосе жены сделалось отчетливым.

– Ну, какие-нибудь ободряющие слова, – Петраков улыбнулся печально: правы те, кто говорит, что мамонты вымерли потому, что первыми поняли – так дальше жить нельзя. Петраков хорошо понимал, что ему тоже так дальше жить нельзя, но тянул свою лямку до конца – вернее, пытался тянуть, ибо это было его крестом, его судьбой, он осознавал то, чего не осознавала Ирина – без него она может погибнуть, ее просто-напросто съедят родственники, характер у ее семейки был еще тот – редкостный характер, ни одной светлой черточки. Родственники Ирку просто заклюют, как обычную неудачницу, и Наташку заклюют, вот ведь как, хотя Наташка совершенно ни в чем не виновата.

Русские женщины ни на кого не похожи, единственное, что в них есть – красота. И все. Да и национальность «русский» – это тоже нечто удивительное. Похоже, что и не национальность это вовсе. Недаром считается, что национальность – это итальянец, француз, американец. Еврей – это призвание, а русский – судьба.

Вот это, пожалуй, точно: русский – это судьба.

Ирина молчала – то ли соображала, то ли просто не хотела говорить, Петраков тоже молчал.

Затягивать паузу было больше нельзя.

– Ладно, – он вздохнул. – В общем, я улетел.

– Счастливо, – равнодушно проговорила Ирина, повесила трубку.

В конце концов, они уже перестали быть мужем и женой в обычном понимании этих слов, они продолжают все больше и больше отдаляться друг от друга, и уже видна черта, за которой люди становятся чужими. Хотя в их паспортах и не стоят штампы о разводе. Собственно, штампы на мятых страничках главного документа российского гражданина – это обычная условность, потерять друг друга со штампом в паспорте можно так же легко, как и не имея этого штампа. Наверное, так оно и будет, когда вырастет Наташка.

Вырастет, окончит институт и выйдет замуж. Петраков постоял еще некоторое время в нерешительности около телефона-автомата и медленно, усталой походкой, словно бы после пятидесятикилометрового марш-броска, совершенного с полной выкладкой, с запасом патронов, воды и еды на несколько дней, двинулся по лестнице вверх.

Нет у него дома. У других есть, а у него нет.

В полете хорошо спать. Иные в полете маются, нервничают, испуганно заглядывают в иллюминаторы, за борт, пытаясь отыскать в рыжевато-темном рядне полей, в лоскутных прямоугольниках нарезов что-нибудь знакомое и одновременно неожиданное, способное заставить их забыть о полете, не находят, и глаза их делаются еще более испуганными, слезящимися, красными от напряжения, они жалобно косятся на соседей: это что же такое делается?

Хорошо, что хоть дурацкие вопросы не задают: упадет самолет или не упадет?

Вопрос действительно дурацкий: упадет лайнер или нет? Этого никто не знает, даже пилоты. Старые самолеты уже выработали свой ресурс, новые на заводах не заложены, да и заводы уже разучились делать их: они клепают теперь алюминиевые кастрюльки, ладят отвертки, которые продают по полтора гроша за штуку, из алюминия, гордо прозванного металлом двадцать первого века, отливают пепельницы и подставки под утюги, ремонтируют старые швейные машинки – в общем, выкручиваются как могут. Выживают. Есть такое модное слово. Перестроились и выживают. Им теперь не до самолетов.

Едва вошли в салон и уселись в рядок, как Петраков откинул голову на твердую, обтянутую шерстистой тканью, высокую спинку, нащупал затылком точку поудобнее и закрыл глаза.

Самолет еще не взлетел, еще только погромыхивал моторами, выруливая на дорожку, газовал перед стартом, дрожал от ярости так сильно, что у пассажиров готовы были выскочить зубы, а Петраков уже спал. Крепко, сладко спал и видел, похоже, хорошие сны – на распутившемся лице его, обычно жестком, играла спокойная, почти детская улыбка, на щеках появились ямочки, уголки губ подергивались, будто Петраков смеялся во сне. Лишь когда самолет, оторвавшись от земли, начал резко набирать высоту и пассажиров резко вдавило в сидения, Петраков шевельнул головой, улыбнулся добродушно и вновь затих.

Когда в южном городе пересели на самолет поменьше, Петраков, свеженький, как огурчик, уснул вновь – сразу же уснул, едва очутился в самолетном сидении.

Спал он и в тряском дребезжащем вертолете, который доставил их на пограничную заставу. Впереди у группы Петракова были бессонные ночи, и сколько их – никто не знал, поэтому командир заранее набирал то, что положено организму. Впрок набирал – кто знает, может, два лишних часа сна потом спасут ему жизнь: на чистую неусталую голову Петраков примет правильное решение и останется цел. Либо надо идти от обратного: ошибется – и погибнет.

Спецназовцы в этом смысле сродни саперам – ошибаться им нельзя. Всякая ошибка может оказаться единственной в жизни – первой и одновременно последней. Чистая голова в их работе так же важна, как и твердая рука, и верный глаз.

Приземлились они уже в розовых сумерках вчера в уютной долинке, наполненной треском цикад.

Было тепло. В макушках высоких гибких кипарисов шебуршались горлицы, перелетали с места на место, неподалеку от вертолетной площадки было слышно щелканье кнута и мычание коров – пастух гнал вечернее стадо домой, мирные домашние звуки эти оглушили больше

цикад, рождали внутри некое размягченное чувство, схожее с детским – такое чувство возникало у Петракова только в детстве, когда приходилось совершать какое-нибудь неожиданно открытие.

Проценко с Токаревым переглянулись. Проценко добродушно пробасил:

– Похоже, надо будет сдать еще один зачет: как правильно крутить коровам хвосты.

– Тих-ха! – скомандовал Петраков свежим голосом – сразу видно, человек хорошо выпался. – Размякли от деревенской идиллии, свежим коровьим молоком запахло? Такая идиллия иногда ничего хорошего не предвещает.

– Считаешь, мычание коровы – плохая примета, командир? – усмехнувшись, спросил Токарев – он в приметы вообще не верил.

Петраков в приметы верил, поэтому и отвечать Токареву не стал. Слова обладают некой таинственной силой: брошенная где-нибудь вскользь, между прочим, фраза – самая нереальная, самая фантастическая – через некоторое время обретает совершенно реальную плоть. Сбываются сгоряча сорвавшиеся с языка проклятия, кровь словесная превращается в кровь зримую, алую, с душноватым запахом, пролитую в размерах не шуточных.

– Плохая примета, плохая, – в голосе Токарева появились настырные нотки, – но ты не журишь, командир: Бог нас не выдаст, свинья не съест...

Поселились они на обычной заставе, в домике, сложенном из самана – легком, почти воздушном, в холод теплом, в жару прохладном, покрытом тростником. Домик этот возвел один из местных жителей, благодарный пограничникам за то, что те вернули с той стороны «эмигрировавших» овец – целое стадо, тридцать с лишним голов, седобородый дедок этот настолько растрогался, что хотел напоить заставу двумя бочками красного домашнего вина, а когда это не получилось, возвел саманный дом. Хотя начальник заставы был против.

– Зачем?

– Как зачем, как зачем? – воробьем прыгал вокруг начальника заставы дедок, ярился, повышал голос. – А вдруг гости приедут, принимать их будет негде... И жить негде. Не для тебя строю, командир – для гостей твоих. Чтобы было, где их принять. И самовар с вином поставлю.

– Самовар не надо.

– Вах! – Несмотря на свой солидный возраст – семьдесят пять лет, – дедок не растерял своего темперамента. – Я имел в виду не самовар, а глиняный кувшин на пять литров.

– Кувшин тоже не надо!

– Вах! – осуждающе произнес старик, но послушаться начальника заставы не посмел. Начальник заставы в здешних краях – очень большой человек.

Гостей в саманном домике еще не было, Петраков со своей группой – первый.

Начальник заставы – лихой капитан с казачьими усами, неожиданно делающими его скуластое худое лицо моложе, чем оно было на самом деле, хотел поселить Петровича в свободной офицерской квартире замбоя – заместителя по боевой подготовке, которого должны были прислать из штаба округа, но с кадрами было туго, и замбоем пока не пахло, – Петрович в ответ замахал руками:

– Я – со всеми вместе. Не люблю выделяться.

Капитан все понял, козырнул уважительно.

Уже было темно, когда Петрович собрал группу, посидел немного, не шевелясь – слушал самозабвенную песню цикад, затем расслабленно вздохнул – ну ровно бы услышал что-то очень дорогое, – и произнес:

– Люблю, когда поют цикады. – Лицо у него обмякло, распустилось неожиданно безмятежно, он грустно покачал головой, словно бы вспомнил что-то, оставшееся в далеком прошлом, повторил машинально, уже тише: – Люблю, когда поют цикады!

– А чего в них хорошего? – Токарев хмыкнул. – Напоминает звук электрической пилы.

Лицо Петровича мигом сделалось жестким.

– Неправда! – возразил он. – Это только у людей с сытым благополучным детством песня цикад может ассоциироваться со звуком электрической пилы. А я пацаном уже на фронте был. Воевал. В полковой разведке... Э-э, да ладно, – Петрович, осаживая самого себя, хлопнул ладонями по коленям, под правым глазом у него беспокойно задергалась какая-то мелкая жилка – Токарев своим неосторожным замечанием задел его. – Цикады мне всегда напоминали отпуск на юге. В отпуске же я, дорогие мои ребята, был всего два раза в жизни. Вот так, – он снова хлопнул себя ладонями по коленям, – не удивляйтесь этому обстоятельству, но это так.

Собственно, и Петраков с Ириной на юге тоже был всего два раза – в первые годы супружеской жизни, когда и Ирина была иной, и он был иным, и страна была другой, не в пример нынешней нищей и куцей России, обкусанной со всех сторон: кто хотел оттяпать себе кусок от нее, тот и оттяпал. Без всякого ущерба для себя. Главное – было бы желание.

А желание это имелось у многих. Особенно у ближних соседей, которые пишут слово «Москва» с маленькой буквы, а «сало» – с большой.

– Значит так, – Петрович вновь хлопнул ладонями по коленям, и Петраков понял: что-то у выпускающего не ладится внутри, что-то не состыковывается, сегодня Петрович не похож на самого себя. – Сейчас без пяти минут восемь, – Петрович оттянул обшлаг спортивной куртки, на запястье у него висел «роллекс», настоящий швейцарский «роллекс», ошибающийся в десять лет на одну секунду, – до нуля часов, отдых, в ноль часов – начало подготовки, в час сорок пять – проверка, в два выходим. Вопросы есть?

– Есть, – сказал Проценко. – К чему такая спешка?

– Вчера пришло сообщение... оттуда, – Петрович повел головой в сторону окна; он не сказал, откуда именно пришло сообщение, но все было ясно без всяких слов, – завалились два наших разведчика. Надо срочно их вытаскивать.

– Как всегда... Кто-то высморкался не в ту ноздрю, вынес мусорное ведро не на ту помойку, а нам – собирать очистки, – проговорил Токарев с веселой досадой.

– Такова наша работа, – проговорил Петрович, почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно и добавил виновато: – Ваша работа и моя. За это нам платят деньги.

– Хоть бы раз эти мальчики подгребли за собой свои какашки – глядишь, впредь бы и работать стали чище, – Проценко не выдержал, ударил кулаком по столу.

– Что за люди-то хоть? – спросил Петраков.

Петрович приоткрыл газету, лежавшую перед ним на столе – он всегда держал перед собой газету, эта привычка у него неистребимо въелась в кровь, ее не вытравить, она осталась еще с поры походов на ту сторону в качестве командира группы, под газету было удобно класть пистолет, достал фотоснимок, показал его Петракову.

Человек, изображенный на снимке, был очень знаком – такое впечатление, что Петраков встречался с ним раньше. Часто встречался, может быть, даже каждый день. Только вот тот, с кем Петраков встречался каждый день, был малость постарше этого сытого, с блестящими глазами.

– У меня такое чувство, Петрович, – что этот парень не вылезает из телевизора, – сказал Петраков.

– Точно. Он там плотно прописался. Только не он сам, а его родной папаша.

Петраков невольно присвистнул: теперь понятно, почему это лицо ему так знакомо – отец этого красавчика занимает один из видных постов в России, его часто можно видеть рядом с Ельциным, каждый день он вещает по телевизору и учит страну жить. Популярен необыкновенно – ну просто американский киноактер! Все у него есть – и обаяние, и хорошая одежда. Единственное, что панталоны в алмазах не носит, а американские звёзды такие панталоны иногда надевают.

Отпрыск как две капли воды был похож на папашу.

Эта странная мода – идти в шпионы, – появилась давно, еще в брежневскую пору, ну а во времена горбачевские, когда холод на дворе чередовался с жарой, воздух был мутным и непонятно откуда несло гнилью – иногда вообще, кроме духа сортира, никакого другого не ощущалось, по улице Горького бродили беспшабашные компании и горланили: «По России мчится тройка – Мишка, Райка, перестройка», – эта странная мода получила второе дыхание.

Действительно, работенка непыльная, «приятная во всех отношениях», хорошо оплачиваемая, и главное – за рубежом.

– Он работает один? – спросил Петраков, кладя снимок на стол.

– Нет, есть ещё, – Петрович, будто фокусник, разъял газету, лежавшую у него под рукой, получилось две газеты, приподнял одну из них, встряхнул, словно бы хотел сбить с нее морось, и изнутри, из страниц, выпал еще второй снимок, цветной.

На снимке был изображен молодой улыбающийся человек – такие молодые люди очень нравятся девушкам, с колючими брызгами во взгляде и тугими, ровно покрытыми здоровым румянцем щеками.

– Этот человек никогда не отказывал себе в удовольствии поесть икры столовой ложкой, – перегнувшись через спину командира и мельком глянув на снимок, сказал Токарев.

– Возможно, – спокойно отозвался Петрович, придвинул снимок к Петракову. – Вот, майор, пли-из.

– Значит, их... – Петраков не успел договорить, старший все понял и кивнул:

– Их!

Петраков согнул ладонь ковшиком, накрыл ею другую ладонь.

– Уже сидят под колпаком или есть еще какая-то щель?

Петрович повторил жест майора, также согнул ладонь ковшом и накрыл ею другую ладонь.

– Ни одного просвета. Таракан не пролезет.

Лицо у Петракова сделалось злым, каким-то чужим: он неверяще мотнул головой.

– Как же можно так работать?

– Как видишь, можно, – Петрович вздохнул: он не имел права оценивать работу других, вообще не имел права проявлять эмоции при чужих провалах, его задача была другая – вырывать провалившихся. – В этом мире все можно.

– А в том мире, Петрович?

– В том мире – не знаю. Не был.

Они были разные люди, Петраков и Петрович, майор и полковник, ничего у них общего и вместе с тем, когда их видели рядом – душа начинала радоваться, эти двое составляли единое целое, когда же они были каждый сам по себе, то возникало ощущение разорванной половинки. У этой, мол, половинки должна быть другая половинка, такая же... Вот только где она есть – непонятно.

– Я имею в виду, Петрович, «верхних» людей, тех, которые как сыр в масле катаются.

– И я имею в виду «верхних людей». Только других.

– Вот и договорились. Хотя ни о чем не договорились, – вот так, болтая, рассуждая о пустяках, Петраков одновременно работал: вертел фотоснимки, ставя их под разными углами, прикрывал ладонью половину одного снимка, затем половину другого, изучая верхнюю часть лица, затем точно так же «высвечивал» нижнюю часть – он запоминал «клиентов».

Неверно говорят, что профессионалу достаточно бросить один взгляд на фотоснимок, чтобы запомнить его навсегда, таких профессионалов нет, а если есть, то это – фокусники, либо больные люди, со сдвинутой памятью, таким людям надо лечиться.

Петрович неожиданно покашлял в кулак, отвел взгляд в сторону:

– Только это, Петраков... Постарайся, чтобы приключений было поменьше. Договорились?

– Петрович, а как обойтись без приключений, когда люди под колпаком сидят? Из-под колпака-то выдергивать их придется силой...

– Так-то оно так, но все же... – неопределенно, продолжая глядеть в сторону, проговорил Петрович.

Он положил одну газету на один снимок, другую газету на второй, поднял их – снимков на столе не было. Как эти штуки Петрович проделывал – Петраков не знал.

– Понятно, – сказал Петраков. На фразу Петровича должен был последовать отклик, как на пароль, эта словесная игра имела в команде Петракова свои правила и правил этих ребята придерживались. Как, собственно, и все люди в погонах, у которых существует начальство, существуют подчиненные, есть старшие по званию, и младшие тянутся перед ними в струнку... В армии эти бесхитростные правила соблюдаются жестко.

– Повторяю, в два часа ночи – выход, – сказал Петрович, поднимаясь со стула. – Готовьтесь, – он медленно, какими-то грустными глазами, будто чувствовал неладное, оглядел каждого, кивнул и исчез, будто дух бестелесный. Только что был человек – и не стало его.

Фокусник. Гарри Гудини. Дэвид Копперфильд.

Ох, как громко и как дружно пели в ту ночь цикады, звон – точнее, отзвук звона, то самое, что потом не исчезает долго-долго, от их песен стоял не только в ушах, стоял в груди, в костях, во всем теле – шевельнуться было боязно. Цикадам вторили ночные птицы какие-то невидимые скворцы, сладкоголосые, неугомонные, способные на одном дыхании, без перерыва, выводить длинные залихватские рулады.

В черное небо длинными, остроконечными, гибкими плетями уносились пирамидальные тополя – еще более черные, чем небо, растворялись в густой дрожащей темноте, оттуда, с высоты, из горней удаленности, на землю несло дивное птичье пение, смешанное с электрическим звоном цикад.

Перед выходом Петраков проверит ребят – не звякает ли где что, не привлекает ли внимание какой-нибудь посторонний звук, который может быть засечен? На той стороне придется целый час идти бегом – надо будет как можно скорее одолеть мертвую зону.

На столе Петраков разложил четыре чистых холстины – четыре платка: каждый сложил в индивидуальную холстинку свое добро, которое нельзя было уносить с собою – документы, значки, письма жен, фотокарточки, сигареты российского производства, влажные салфетки с надписью «Аэрофлот», которыми удобно вытираться в жару, и записные книжки – словом, все, что выдавало принадлежность к России, – человек, уходящий на ту сторону границы, не должен иметь национальности, он находится вне ее, он – не американец, не русский, не турок, не армянин, не англичанин, – ничто не должно выдавать его, ни одна деталь.

Впрочем, на мелких деталях разведчики и засыпаются. В Афганистане, из похода, с привалов домой старались унести все, даже собственный дух, на камни брызгали особый раствор, чтобы они не пахли ничем русским – ни потом, ни кровью, ни едой, ни водой, ни оружием, – ничем, словом.

Хотя русских узнают за границей легко, даже если они идеально владеют языком страны, в которой находятся. Нужно быть только чуть внимательнее, и все – замечать детали, просеивать их через себя, анализировать и секреты откроются сами собою.

Иностранцу никогда не вздумается, допустим, пообедать на газетке, что в России происходит сплошь да рядом. Если русский человек ведет счет, то загибает пальцы, придавливая их к ладони, иностранцы же пальцы выкидывают. Когда русский человек заканчивает есть, то кладет вилку и нож рядом с тарелкой, параллельно, вилку слева, нож справа от тарелки, либо просто бросает их в тарелку, также рядышком, иностранец же обязательно аккуратно положит нож с вилкой в тарелку, разместив их крестом – все, дескать, на еде поставлен крест, финита. Иностранец никогда не наклонит стопку, чтобы чокнуться с кем-то, пожелать здоровья, делает это аккуратно, держа свою стопку очень ровно, бережно, как любимую девушку. И так

далее. Иностранец, к примеру, обувь шнурует, как бутсы, одним концом – вдев шнурок в нижние блочки, оставляет один конец коротким, другой делает длинным, и шурует им проворно справа налево и наоборот, наши же обычно шнуруют крест накрест, либо лесенкой – обеими концами сразу.

В общем, русский человек есть русский человек, а иностранец – это иностранец. То, что годится русскому человеку, иностранцу не годится совсем. И наоборот.

Проверкой Петраков остался доволен. Скомандовал, как всегда, вполголоса:

– Вперед! – И добавил: – К Петровичу на последний экзамен.

Петрович последним экзаменом тоже остался доволен – не сделал ни одного замечания.

В границе было сделано окно на выход, через двое суток оно будет работать на вход. Те, кому положено, будет знать об этом, кому не положено – этих отведут в другое место, займут чем-нибудь интересным.

– Ну что же, присядем на дорожку... По русскому обычаю, – Петрович первым опустился на длинную казарменную скамейку – экзамен он проводил в комнате боевой славы погран-заставы, – помял себе пальцами поясницу, поморщился от боли и поднялся. – Теперь все... Теперь – с Богом!

Группа Петракова вышла вслед за полковником на улицу, и ночь снова оглушила людей. Крик цикад был пронзительным, по-живому резал слух.

– Говорят, громче цикад орут только древесные лягушки, – Токарев поежился, приподнял плечи, глянул в небо.

– Не слышал, – Семеркин тоже поежился. – Знаю, что древесные лягушки крикают по-утиному, не отличишь от настоящей подсадной, но чтобы они пели?.. Не слышал. Может, их к электрической розетке подключают?

– Тише, говоруны! – шикнул на них Петрович.

Звон цикад сделался громче.

Но скоро его не будет – цикады утихнут словно бы по команде. Произойдет это примерно в три часа ночи. Группа Петракова к этой поре будет уже далеко.

Через несколько минут к группе присоединился майор в пограничной фуражке, с автоматом. Петрович глянул на часы и с шага перешел на рысцу. Иногда у него под ногой щелкала, ломаясь, невидимая ветка и Петрович едва слышно ругался про себя. У черных, медленно выплывших из темноты камней, Петрович остановил группу.

– Все, – сказал он, – дальше вы, ребята, сами... без меня.

Цикад здесь было поменьше, поэтому было слышно, как внизу, под крутым берегом клекочет, играет обкатанными вековыми булыжинами река.

Майор приблизился к Петракову.

– На той стороне – чисто, – тихо, поблескивая в темноте зубами, произнес он, – ни влево, ни вправо – ни одного человека.

Пройти на чужую территорию всегда бывает легче, чем вернуться на свою. Возврат часто сопровождается кровью, стрельбой, потом, надрывными криками, а затем, уже на своей стороне – дружескими улыбками встречающих: пограничного и прочего начальства, «заказчиков» и так далее, после чего накрывается хороший стол в так называемом «комиссарском» домике, если он, конечно, есть – такие домики существуют на многих заставах для встреч с офицерами сопредельной стороны, чтобы решить наболевшие вопросы, а их за пару недель набирается столько, что бумаги на одно лишь перечисление иногда не хватает, после официальных переговоров – обмен незатейливыми сувенирами и опять-таки все тот же стол... Так и здесь.

«Только бы не сказал кто-нибудь что-нибудь не то», – подумал Петраков, глядя на расплывающееся в темноте лицо майора, и пожал ему руку. Рука у майора была крепкая, с твердыми бугорками мозолей – майор умел не только подписывать бумаги, но и хорошо знал, что

такое автомат, саперная лопатка и молоток, Петраков к таким людям всегда относился с уважением.

– Счастливо! – сказал Петракову майор, – возвращайтесь скорее назад!

Однажды молодой пограничник, провожая группу Петракова, неожиданно брякнул: «Прощайте, ребята!» – и группа отложила выход. Слово «прощайте» имеет отрицательную энергетику, произносить его надо аккуратно и чем реже, тем лучше.

– Ну! – рядом с Петраковым оказался Петрович, обнял его. – Буду ждать вас через два дня здесь же, – легонько стукнул кулаком майора по спине и добавил: – пестрая команда.

С этим Петраков не был согласен – команда у него собралась совсем не пестрая, а подогнанная друг к другу, как бывают подогнаны друг к другу части одного сложенного механизма, но возражать Петровичу не стал. Возражать в армии старшим – все равно, что оправляться против ветра: все штаны мокрыми будут.

– До встречи, Петрович!

– Я буду ждать вас, – повторил Петрович, ткнув рукою куда-то в темноту. Петраков скосил глаза, увидел громадный, покрытый то ли ракушками, то ли древней налипью камень. – Здесь! – голос у Петровича неожиданно дрогнул, он притиснул к губам кулак, покашлял в него и произнес загадочно, таинственно, как-то через силу, преодолевая самого себя: – Братья-мусульмане!

Под ногами у Петракова едва слышно заскрипела галька, он вошел в воду первым. Темнота скрыла его вместе с группой.

Майор Петраков вел свою группу быстро – двадцать минут бега, потом пять минут нормального хода, затем снова двадцать минут бега, – ребята шли за ним почти беззвучно, по-кошачьи: ни стука, ни грюка, ни запаренного дыхания, ни звяканья какого-нибудь амулета в кармане. К амулетам предъявлялось то же самое требование, что и к вещам, оставленным дома: чтобы не было никакой адресной привязки.

Война, опасность, постоянное – накоротке, лицом к лицу, – ощущение боя воспитывают в человеке некие мистические чувства, веру в приметы, в потусторонние миры, в жизнь после смерти, еще во что-то, чему и названия нет. Конечно, глупость все это, считал Петраков, уму непостижимая, но глупость бывает непостижима только в разумных пределах, а дальше – вон она, голенькая, валяется в кустах...

На бегу Петраков выдергивал из кармана карту, на которой фосфоресцирующим пунктиром был проложен их маршрут, сверялся с компасом и бежал дальше.

Конечно, неплохо бы выколотить из голов всю эту мистическую глупость, и из собственной головы тоже, но как выколотить, когда все это прочно сидит в крови, уже въелось в кожу, в кости, в нервные отростки, скопилось, собралось в солевые капельки, прилипло к окончаниям... Тьфу! Лезут в голову разные мелочи, не отвязаться.

Петраков вновь достал на бегу карту, взгляделся в нее.

Пробежать надо было двенадцать километров, и чем быстрее – тем лучше: ночью эта полоса сопредельной стороной почти не контролируется, изредка только появляются ленивые пешие наряды, и все, если же темноту прорезает свет фар, то это уже ЧП, это означает, что сопредельная сторона засекла нарушение границы и выслала на разборку мобильную группу, по-нашему – спецназ.

Никакие другие машины в мертвой зоне не появляются, не имеют права, поэтому зону эту надо было пройти на своих двоих, и как можно быстрее.

Через полчаса они будут уже на автомобильной дороге, там их мучения кончатся: группу будет ждать машина.

Неожиданно Петракову показалось, что впереди шевельнулся, раздвигаясь, плотный темный воздух, он поднял руку, останавливая группу.

Остановились все разом, дружно, в едином движении, нырнули вниз, замерли. Петраков прижал к глазам бинокль ночного видения, всмотрелся в пространство. Через несколько секунд поймал в окуляры одинокого шакала – облезлого, со слюнявой мордой и длинными ключьями шерсти, на бегу сползающими с него, шерсть неряшливыми лохмотьями прилипала к кустам.

– Кто там, командир? – шепотом поинтересовался Проценко.

– Волк в овечьей шкуре, – Петраков усмехнулся, – с клеймом на заднице.

– Демократ, что ли?..

– Может быть, и демократ, – Петраков снова усмехнулся.

Шакал тоже почувствовал людей, остановился, взвыл жалобно и злобно одновременно, кашлянул и, по-старчески пригнувшись к земле, горбато – на шее вздыбилась жалкая редкая шерсть, – исчез.

– Вперед! – скомандовал Петраков.

Группа поспешно поднялась и, ступая шаг в шаг за командиром, ступня в ступню, словно бы бежала по минному полю, растворилась в темноте.

К шоссе, пустынному в этот час, они вышли вовремя.

На обочине стоял помятый старый джип, на каких местные крестьяне возят в город продукты, а из города – приобретенные вещи, вплоть до мебели, – вместительный, безотказный, из тех, что сто лет проработал и еще столько же будет работать. Джип был поставлен умело – на изгибе шоссе, на самой выпуклой точке – для приметливого глаза его ничего не стоило обнаружить, глаз же обычного ротозея, рыночного обывателя никогда не зацепится за машину.

Одобрительно побрякав в кулак, Петраков стрельнул глазами в одну сторону, потом в другую – шоссе по-прежнему было безлюдным, темным, хотя воздух немного порозовел, пошел крупной, начал расслаиваться, это был признак близкого рассвета, а до рассвета надо было уйти далеко, – майор оглянулся и придержал ладонью группу, – затем неспешной походкой человека, который по малому делу решил сходить в кусты, расстегнул молнию куртки и приблизился к джипу.

Вытертый до желтого блеска, с погнутым пяточком ключ зажигания находился в скважинке, второй ключ – от багажника и дверей, – висел на крупной, собранной из медных звеньев цепочке, на цепочке же болтался и круглый брелок с изображением Аль-Аксы – главной мусульманской мечети в городе Иерусалиме.

Брелок был опознавательной деталью джипа – это была та машина, которая ожидала группу Петракова.

Майор еще раз глянул в одну сторону, потом в другую и неспешно уселся за руль. Повернул ключ зажигания. Мотор завелся мгновенно – у этой неказистой, с помятым кузовом и разбитыми колесами машины был великолепный, хорошо отлаженный, очень мощный двигатель. Единственное, чего не ожидал Петраков, что у джипа окажется автоматическая коробка передач. Он не сразу сообразил, как надо действовать – в России, отделившейся от всех своих товаров, появились, естественно, машины с такими коробками, но их было мало, и Петраков ни разу не пробовал ездить на «автоматах». Вот что надо было, кстати, включить в программу сборов на Сенеже.

Но где наша не пропадала, русский мужик – сообразительный, знает, чем можно приклеить к лысине оторвавшийся кусок волос, Петраков сообразил, что надо делать. Позвал группу...

Некоторое время Петраков ехал, опасливо вслушиваясь в треск насыпного галечника и твердой, тверже укатанного асфальта земли под колесами, к сытому рокоту двигателя, потом надавил ногой на педаль газа и в то же мгновение почувствовал, как из-под него уходит сидение. Спина сама по себе вдавилась в старую потертую кожу.

– Ого! – сказал Токарев. – Эта машина может идти со скоростью триста километров в час.

Было тихо. На своей территории группу оглушали цикады, вызывали зуд на зубах, а здесь – ни единого птичьего всхлипа, ни верещанья, ни писка, ни вскриков, ни песен – ничего, словно бы они попали в некое лишенное жизни пространство. Впрочем, наверняка цикады орали и тут, просто они сейчас уснули.

Под колеса джипа торопливо втягивалась лента старого, кое-где со свежими нашлепками заплат шоссе и убегало назад.

Через двадцать пять километров, у таверны с претенциозным названием «Кухня пирата» их должен был встретить связник. Никто из группы, в том числе и Петраков, не знал, кто это будет. И Петрович сказать не мог – связник был из посольских работников.

Неожиданно впереди послышался вой сирены, поверху, в воздухе пронеслось что-то красное – то ли всполох пробежался, то ли луч прожектора, – Петраков кивнул ребятам: будьте, дескать, готовы.

А тех и предупреждать не надо было, они и так все знали. Сами.

Через полминуты из-за поворота на большой скорости вынеслась полицейская машина, не сбавляя хода, промчалась мимо джипа и исчезла в рассветном мороке пустынного шоссе.

– Здешние полицейские по совместительству работают космонавтами, – Токарев притиснул к темени ладонь на манер козырька от фуражки, второй ладонью козырнул, изображая из себя космонавта, отправляющегося в дальний полет.

– С чего ты взял? – поинтересовался Проценко.

Обычно шумный, широкий, способный объять необъятное, он сейчас был собран, сжат, как пружина, готовая распрямиться и выстрелить, – ни одного лишнего движения, ни одного неосторожного слова. Но любопытство есть любопытство, всегда интересно знать, почему жука зовут жуком, а муху мухой.

– Больно скорость любят, – пояснил Токарев. – Умеют рулить, но не умеют ремонтировать. Ты обратил внимание, какая машина была драная?

Унесшийся в утреннюю мглу автомобиль действительно был драный, в нем все громыhalo, стучало, ворочалось, будто в большой таз насыпали гаек, разных ржавых железок и начали таз трясти.

– Обратил.

– Давить задней лапой на педаль, а носом на бибику – дело нехитрое, ума особого не надо...

– Но ездит же машина.

– Тихо! – предупредил группу Петраков. – Умолкните!

Шоссе втянулось в небольшой серый поселок. На обочинах возле домов росли высокие, с волосатыми неопрятными стволами пальмы. Петраков пошарил в бардачке, нашел там карту, развернул ее.

Шоссе, по которому они сейчас ехали, было изображено узкой червячьей лентой, в сером поселке с длинным, почти невыговариваемым названием таверны «Кухня пирата» не было. Петраков надавил на газ и звук мотора, трубно лопааясь на стенах домов, заставил задрожать весь поселок.

– Грубо, командир, – сделал замечание Токарев, – местные козы перестанут доиться.

– А что, в Ливане, например, так оно и было. Своих сил ПВО там нет, так израильские самолеты привыкли вести себя разбойно, – брали звуковые барьеры прямо над населенными пунктами. Мало того, что стекла в рамах лопались – коровы с козами перестали доиться. Один крестьянин, говорят, даже написал письмо в Организацию Объединенных Наций.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.